

Оливье Тодд

Альбер Камю, жизнь

Фрагменты книги

180 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

– Пожалуй, ты можешь сыграть Марту в пьесе одного молодого автора. Мне нравится. На, прочти, – сказал Эрран Марии Казарес, вручая ей текст “Недоразумения”.

Марсель Эрран – актер и режиссер, директор театра “Матюрен” и большой умница (что не вполне обычно для директора частного театра), гомосексуалист, сноб, циник и светский лев – решил поставить на своей сцене “Недоразумение”, пьесу с пятью персонажами.

Тексты Камю ходили в Париже по рукам. Жан Вилар заинтересовался “Калигулой” – двадцать пять персонажей! Эрран прочел обе пьесы и решил, что на волне успеха предыдущих двух вещей, “Постороннего” и “Мифа о Сизифе”, в театре лучше начать с чего-нибудь камерного. Первая рабочая встреча состоялась на квартире самого Эррана, над театром, неподалеку от бульвара Османн. Казарес узнала Камю: они уже виделись у Лерисов на чтении пьесы Пикассо, где Камю возвещал начало спектакля тремя ударами посоха и зачитывал авторские ремарки. В Марии проснулось, как она сама выражается, “неизбывный инстинкт завоевательницы”. Она отмечает, что у Камю “лицо было надменное, но без самодовольства”, вид “безразлично-небрежный” и “неотразимое обаяние”. Она уловила в нем также склонность к меланхолии, некоторую неуравновешенность и едва заметный надлом. “Ранимость его таит в себе силу, порожденную изгнанием”, – решила она.

“Недоразумение” Камю читал глухим голосом, с подчеркнутой непринужденностью, скрывавшей сильное волнение. Он прерывался, пил воду. Все внимательно слушали: Эрран, Казарес, Элен Веркор, предполагаемые исполнители Мари Кальф и Поль Эттли. Ко второму и третьему актам он немного успокоился. Он устал, на лбу выступил пот. Казарес сияла яростной, пронзительной красотой. Она видела, что Камю взволнован, была уверена – из-за нее. Ей хотелось потрясти его, бросить вызов, помериться силой, возможно, спровоцировать на какую-нибудь “глупость”. Но Эрран прервал чтение, не дослушав до конца.

Отец Марии был испанцем. Франкофил, свободомыслящий республиканец и богач, он занимал высокие посты: министр флота, транспорта, общественных работ, внутренних дел. Он был также премьер-министром и министром обороны. Сама Мария – в годы гражданской войны ее звали Витолиной – работала в госпитале. Ее первый возлюбленный, Энрике Лопес Толентино, состоял в Рабочей партии марксистского воссоединения. Так что в Марии анархизм слился с “высокомерием и театральностью всех испаний”. В 1939-м, найдя убежище во Франции, она сдавала экзамены на степень бакалавра в лицее Виктор-Дюрюи. На втором экзамене провалилась. Затем поступила в Консерваторию – с третьей попытки – и произвела неизгладимое впечатление на своих одноклассников и преподавателей. Ей нравился Клодель, потому что чувствовала она так же: “властвовать собой и образумиться – вещи диаметрально противоположные”. Пламенная, неистовая, Казарес начинает театральную карьеру с Береники, затем играет королеву в “Рюи Блазе” и Жанну д’Арк в пьесе Пеги. Равнодушная к тому, что о ней говорят, женщина до мозга костей, она требует равенства с мужчинами. “Посторонний” и “Миф о Сизифе” ей понравились. Писатель и актриса сошлись, продолжая традицию, начатую Мольером и Армандой Бежар. О театре и актерам Камю писал: “Вжиться в каждую из этих судеб, испытать на себе их разнообразие – все равно что сыграть их”. Казарес как актриса идеально подходила для его пьес. В одном из своих эссе Камю отметил: “У актера успех либо есть, либо его нет. Писатель не теряет надежды, даже если он не признан”.

Камю и Казарес были схожи между собой. Они притягивали друг друга своей “испанскостью”, подлинной или воображаемой. Камю был близок кастильский дух; Казарес выглядела галисийкой. Став французской актрисой, она подчеркивала свой легкий мадридский акцент. Мария была моложе Камю на девять лет. Повсюду – в жизни, на сцене, на экране – она пускала в ход свои ведьминские чары. Донжуанство тоже было ей не чуждо. Подобно Альберу, она явилась из другого мира, намереваясь покорить французскую столицу своим необузданным темпераментом. Она умела радоваться жизни. “*Todo es nada*” – “Все – это ничто” – могло бы стать ее

девизом. Они с Камю оба независимы, горды и властны, почти деспотичны. Подобно Альберу, Казарес глубоко переживает падение испанской республики, только чувство ее более романтично и далеко от политики. Здоровье у Марии железное. В прямом и переносном смысле Камю и Казарес – актеры. Камю пишет: “Будучи мимом преходящего, актер являет и оттачивает себя в видимом. Условность театра в том и состоит, что душа может выразить себя и быть понятой только через жест, телесно – или через голос, который тоже является частью души и тела”. На сцене у Казарес громкий, хриплый голос. “Закон этого искусства требует, чтобы все было огрублено и выражено телесно”. Танцует Мария столь же упоенно, как играет. Камю, менее искусный в посодoble, предпочитает танго или вальс. Слово про них поется в известной песне Шарля Трене и Эдит Пиаф:

В его объятьях замерев,
я слышу слов напев
сквозь розовую дымку...

Вскоре они становятся парижскими знаменитостями. Стоит им зайти в кафе – оркестр начинает в их честь пасодoble “Pisa Morena”; это музыкальное приветствие для Казарес. Камю помогает Марии находить новых авторов. Она работает. Он тоже. По вечерам он приходит к ней и ждет ее на широком балконе-террасе в доме 148 по улице Вожирар. Иногда она сама приходит к нему. Камю снимает комнату-мастерскую в доме 1-бис на улице Вано, V II округ. Это в некотором роде продолжение квартиры, принадлежащей Андре Жиду. Старый писатель сдал комнату Камю, ничего не зная о нем. Но плата за жилье передается из рук в руки: таким образом Камю успешно прячется от полиции, а Жид может не платить налог.

Вечером 5 июня Камю и Казарес участвовали в празднике, который давал режиссер Дюллен. Возвращались они под хмельком, ехали на велосипеде, Камю вез Марию на раме. В ту же ночь началась операция “Оверлод” и союзники высадились в Нормандии. Но жизнь в Париже никогда не замирает, даже если отменен чемпионат Франции по футболу. 17 июня гестапо и милиция захватили подпольную типографию газеты “Комба”.

Меж тем репетиции “Недоразумения” шли весьма успешно. Эрран никогда не бранил своих актеров. Время от времени на репетициях присутствовал Камю и прислушивался к тому, что говорит профессионал. Руководить театром “Экип” в Алжире и театром “Матюрен” в Париже – совсем не одно и то же. Но пьеса у Эррана в руках, и Камю, хоть и не со всем согласен, помалкивает. Он лишь просит Казарес передать режиссеру одно пожелание: актер и актриса в какой-то сцене целуются – так нельзя ли им прижаться друг к другу теснее?..

“Недоразумение” – это плод одиночества, там автор пристально вглядывается в себя. Первоначальное название пьесы было “Будейовице”, потому что действие происходит в Чехословакии. Главный герой Ян удивлен, что все в этом городе кажется ему “особенным: и язык, и люди”. Подобно самому Камю, который, застряв в Шамбоне, переделывал текст пьесы, Ян тоскует по дивным южным вечерам, “сулящим счастье”. Сестра его Марта мечтает “иметь много денег, чтобы празднично жить на берегу моря”. Ян заявляет: “Нельзя всю жизнь оставаться чужаком. Я хочу вернуться к себе, сделать счастливыми тех, кого люблю. А что дальше – не знаю”. Но кого же тогда имеет в виду Марта, когда кричит: “Мужская любовь – всегда надрыв. Мужчины не могут не бросать того, что любят”? Для Камю “Калигула” – это “пьеса о высочайшем самоубийстве”. Получается, что в “Недоразумении” речь идет о самоубийстве низшего порядка? Написанная в 1942–1943 годах в оккупированной стране, “вдалеке от всего, что он любил”, пьеса “тронута настроением изгнания”, но в ней нет безысходности, отчаяния. Камю работал над “Недоразумением” и “Чумой” одновременно, имея про запас два возможных названия: для пьесы – “Изгнанник”, для романа – “Изгнанники”. “Недоразумению” чужд пессимизм: “Теперь, когда трагедия уже свершилась, неправильно было бы думать, что пьеса призывает к смирению перед неизбежным. Напротив, это бунтарская пьеса. Можно даже сказать, что она ставит проблему подлинности”. Задним числом Камю делает вывод: “Если человек хочет, чтобы его признали, он просто должен сказать, кто он. Если же он молчит или лжет, он умрет в одиночестве и все вокруг него обречено на несчастье. И наоборот: если он искренен, то все равно умрет, но сначала поможет жить другим”.

Генеральная репетиция “Недоразумения” состоялась 24 июня, после прогона, данного накануне, как раз перед взятием Шербурга Седьмым американским корпусом. А за несколько дней до этого во “Вье Коломбье”, одним из левобережных театров (квартал Сен-Жермен-де-Пре), прогремела пьеса Сартра “При закрытых дверях”.

Сартр и Симона де Бовуар присутствовали на генеральной репетиции “Недоразумения” – “Калигулу” они тоже читали, он им понравился больше. В первых рядах партера сидели верные автору Галлимары: Гастон и Жанна, Робер, Мишель, Пьер и Жанина. Но спектакль не удался. Развязка угадывалась с самого начала, действие замирало. Беатрис Дюссан, подруга и преподаватель Казарес, ушла, не дождавшись конца, убежденная, что в недостатках спектакля винить надо не только актеров. Галлимары дружно аплодировали. На следующий день появились критические отзывы: все хвалили игру Казарес. В профашистской газете “Жерб” Андре Кастело поздравил Марию с успехом, а саму пьесу обозвал балаганом. Друзья Камю объяснили провал спектакля репутацией автора: немцы и коллаборационисты догадывались о его участии в Сопротивлении. Вполне вероятно, провал был организован. Приблизительно месяц спустя “Паризер цайтунг” отметила, что “форма и идея пьесы курьезным образом переплелись”; автор, “кажется, хочет сказать, что современный человек может надеяться на будущее только при условии, что сумеет обновить сами основы своего существования”. Камю был задет за живое. “Посторонний”, равно как и “Миф о Сизифе” были хорошо приняты и критикой, и читателями. “Недоразумение”, третья часть этого абсурдистского триптиха, никому не нравилось. Камю жалел, что не отдал в театр “Калигулу”, вещь более доступную. Ошибкой было и то, что роль сына, молодого человека двадцати с небольшим лет, играл сам Марсель Эрран, которому было за сорок. Правда, Камю впервые поставили в Париже, в его пьесе играла “блестящая актриса”. Были и другие утешения: 9 июля 1944 года Кокто написал Альберу Камю, что “его одиночество на сцене было великолепно”. Жан Полан долго тянул, прежде чем высказаться о пьесе откровенно, затем сформулировал: “Мне кажется, сюжет выбран удачно, вот только сама ткань пьесы не получилась”. В издательстве “Галлимар” “Недоразумение” прочел философ Брис Парен – и тоже остался недоволен. Он почувствовал “сострадание, но только не по отношению к персонажам... Я не знал, кого жалеть, – добавил он, – вас, себя или всех вместе. И на что опереться. Герои... слишком много говорят”.

Однажды Камю и Казарес попали в облаву. Около станции метро Реомюр-Севастополь французская и немецкая полиция перекрыли улицу. У Камю при себе – верстка газеты “Комба. Сначала он сует ее в карман, затем потихоньку передает Марии. Мужчин немцы обыскивают, у женщин проверяют документы. Увидев Камю с поднятыми руками, Мария поняла, что если его начнут пытаться при ней, она все расскажет. Камю и сам часто повторял, что поведение человека под пыткой непредсказуемо. После этого случая ему пришлось поменять квартиру, спрятать документы. Он переехал к Полю Раффи.

Жанина Галлимар встретила с Альбером Оливье. Тот сообщил ей, что их подпольную группу раскрыли, а 11 июля арестовали Жаклину Бернар, которая в тот же вечер собиралась увидеться с Камю и Казарес (Мария помогала им в качестве курьера). Камю предстояло на время исчезнуть. Пьер и Мишель Галлимары забрали из его комнаты все вещи и на велосипедах отправились в Вердело. Там, в 60 километрах от Парижа, Альбер ждал их в доме, который нашел для него Парен. Галлимары и Камю провели несколько дней вместе. Камю стряпал свое любимое блюдо маисену – кукурузную кашу. Их навестил участник Сопротивления Роже Стефан. Он собирался выпускать журнал вместе с Лемаршаном и Сартром. Пригласил Камю. Тот отказался. <...>

15 августа союзники высаживаются в Провансе, 18-го начинаются бои за Париж. 16 августа закрываются все полицейские участки. Электричество дают только по вечерам. Поезда стоят. Не выходят газеты, не работает почта. Пиа с друзьями подготовил номер свободной “Комба”. Им помогают два профессиональных журналиста, Жорж Альцшулер и Марсель Жимон из бывшей “Пари суар”. Немецкие обозы тянутся по бульвару Сен-Мишель, где их поджидают строители баррикад. Французские внутренние войска и немецкий патруль поочередно проходят по улицам и сталкиваются на бульваре Сен-Жермен. В окнах мелькают и исчезают флаги – французские, британские, американские. Некоторые полицейские перешли на сторону Сопротивления и одеты в штатское; на рукавах у них повязки, в руках – автоматы; они обороняют комиссариат на площади Сен-Сюльпис. В двухстах метрах, на углу улиц Вожирар и Гинемер, – блокгауз, оттуда выглядывают немецкие солдаты. Начинается бой. Затем прекращается. Начинается снова: для немцев – беспорядочно-трагический, для французов – романтически-прекрасный. Коммунисты призывают ко всеобщему восстанию. Голлисты стараются протянуть время, чтобы избежать ненужных жертв и помешать коммунистам захватить власть.

Как и Пиа, Камю не в курсе, что за переговоры ведет военный губернатор Парижа через шведского консула. Он ничего не знает также о разногласиях между голлистским генералом Жаком Шабан-Дельмасом и полковником-коммунистом Лораном

Роль-Танги. Пост, который Камю занимает в Соппротивлении, не столь высок, чтобы давать оценку политической линии движения. Альбер ждет, пока в город прорвутся танки Второй бронетанковой дивизии генерала Леклера. Сотрудники “Комба”, “Дефанс де ла Франс” и “Фран-тирёр” захватывают здание, в котором располагается редакция коллаборационистской прессы, дом 100 по улице Реомюр; до оккупации там находилась редакция газеты “Энтрансжан”. Они завладели всем: редакционными и административными помещениями, печатными станками, бумажным складом и даже нашли несколько гранат в ящиках стола. Результат: после пятидесяти восьми подпольных номеров “Комба” появился пятьдесят девятый – уже легальный. Париж праздновал победу, омытую кровью.

Сартра попросили от имени Национального театрального комитета занять пустующее здание “Комеди франсез” – символ французской культуры. Мишель Лерис как представитель Национального музейного фронта с подачи Сартра обосновался вместе с несколькими друзьями в Музее человека. Как-то по дороге на улицу Реомюр Камю зашел к Сартру в “Комеди франсез”. Набегавшись по Парижу и устав, Сартр спал в оркестровой яме.

– Проснись! – воскликнул, хохоча, Камю. – Ты повернул кресло по ходу истории!

Даже имея на вооружении танки и самолеты, немцы чувствовали себя в Париже скорее пленниками, нежели тюремщиками. В их руках все еще находились кое-какие важные объекты, они патрулировали главные артерии города, бульвары и набережные, где вокруг баррикад собирались борцы Соппротивления. Как только начиналась стрельба, толпа рассасывалась. Париж напоминал картины Дюфи. Убитых и раненых было немного. Особых зверств тоже не наблюдалось. Правда, немцы все же расстреляли тридцать пять молодых партизан у водопада в Булонском лесу. И еще нескольких у стен гестапо. В ответ французы освистывали немецких военнопленных. Храбрецы в штатском плели в раненых, которых конвоировали французские внутренние войска. Были случаи линчевания. Прошло еще несколько дней, и стали доходить вести, что немцы полностью вырезали население одной французской деревушки, Орадур-сюр-Глан. А еще через несколько месяцев станет известна страшная правда об “окончательном решении”.

Начиная с 21 августа разносчики открыто продают на улицах подпольные газеты. Передовица “Комба” под заголовком “Они не пройдут” по стилю очень напоминает статьи Камю: “Что такое восстание? Это вооруженный народ. Что такое народ? Это та часть нации, которая не желает становиться на колени”. <... >

Магазины в основном закрыты. Несколько булочных выпекают хлеб, который должен продаваться по 3 франка 75 сантимов за килограмм. На черном рынке он идет по 35 франков, а масло вместо 60 франков стоит 600. Немцы готовятся к отступлению, пакут документы и ящики с шампанским. Некоторые солдаты продают кофе, сахар, рис и макароны. На руках расцветают трехцветные повязки с буквой V (виктория), лотарингским крестом и всевозможными аббревиатурами, знакомыми и не очень: FFI (французские внутренние войска), FTP (вольные стрелки и партизаны), OCM (военно-гражданская организация), CDLL (те, кто из Освобождения), CDLR (те, кто из Соппротивления). У населения невесть откуда появляются револьверы, автоматы, винтовки. Черные “ситроены” 11-й и 15-й моделей с ведущими передними колесами разъезжают по городу, сверкая белыми буквами на капотах и плеча на ветру трехцветными знаменами. Часть машин переоборудована под “скорые помощи”. Офицеры и унтер-офицеры извлекают на свет униформу и кепи – это спонтанный, радостный и неорганизованный порыв. Приходят приказы и их отмены. Долетают слухи. Доходит проверенная информация и одновременно ее опровержение. На улице Реомюр журналисты, надеясь разобраться в ситуации, слушают Би-би-си, которая все равно не может точно определить ситуацию в Париже. Немцы концентрируют силы на левом берегу: в Люксембургском дворце и саду, в Военной школе, в министерстве на набережной д'Орсэ, в Палате депутатов – неподалеку от издательства “Галлимар” и от того места, где живет Камю. На правом берегу местом их сосредоточения становится здание Оперы, казармы на площади Республики, отели “Мажестик” и “Мёрис”, застава Дофин. На улицах случаются стычки, но с обеих сторон немногочисленные. Танки участвуют в боях редко. Во всем Париже с пригородами немцев не более двадцати тысяч. В стратегическом плане освобождение столицы мало что меняет – это гораздо менее важно, чем взятие Кана или Страсбура. В эмоциональном и политическом отношении – наоборот.

В передовице от 24 августа Камю описывает ситуацию и определяет позицию Соппротивления: “В эту августовскую ночь Париж пустил в ход все средства. Среди

величественных декораций прошлого, на фоне древних камней, меж которых река катит тяжелые волны истории, вновь выросли баррикады свободы. И вновь нам предстоит купить свободу ценой человеческой крови". Камю напоминает о событиях 1789, 1848 годов, о Парижской коммуне. Говорит о "свободе, завоеванной ценой потрясений". И о "страшном ее порождении – революции". В качестве подзаголовка к "Комба" – газета уже выходит открыто – он предлагает "От Сопротивления к Революции". Это цитата из статьи Жоржа Альтмана, одного из руководителей газеты "Фран-тирёр". В следующем номере "Комба" Камю пишет: "Меж тем как пули свободы все еще свищут над городом, пушки Освобождения, встречаемые криками и цветами, уже минуют городские заставы". Камю обращается к подлинным борцам Сопротивления, к случайным и временным его сторонникам и даже к тем, кто не так давно бурно приветствовал Петена на бульваре Сен-Жермен, а 26 августа аплодировал Шарлю де Голлю на Елисейских полях. <...> Толпа расступалась перед генералом и снова смыкалась за его спиной, а в это самое время – соотношение реальности и символа – солдаты и танки дивизии Леклерка вместе с французскими внутренними войсками подавляли немецкие очаги сопротивления. Де Голль, выступая в городской ратуше, восклицал: "Париж! Поруганный Париж! Сломленный Париж! Он освободил себя, освободил усилиями своего народа с помощью французских вооруженных сил!" По молчаливому соглашению с вождями Сопротивления – голлистами, социалистами, социал-христианами или коммунистами – де Голль распространял легенду, которую журналисты "Комба" в растерянности первых дней даже не успели опровергнуть: будто бы Франция и Париж обрели свободу благодаря самим французам – армии и гражданскому населению – при определенной поддержке американских, британских, канадских и польских солдат. И может быть, где-то даже Красной Армии.

22 июня 1944 года де Голль издал указ о прессе, запрещавший газеты, которые продолжали выходить через две недели после вторжения немцев во Францию, то есть после 25 июня 1940 года для оккупированной зоны и после 26 ноября 1942 года – для неоккупированной. Эти календарные рамки позволяли ликвидировать газету "Тан", которая с приходом немцев не сумела вовремя переместиться на юг Франции. Как только временное правительство обосновалось в освобожденном Париже, "Журналь офисьель" напечатала названия тринадцати разрешенных газет. Солидный куш достался коммунистам: официальный орган – газета "Юманите" и два неофициальных – "Либерасьон" и "Фрон насьональ". В сентябре 1944-го возрождается "Сё суар", возглавляемая Арагоном. Социалисты из французской секции рабочего Интернационала вновь начинают выпускать "Попюлер де Пари", а социал-христиане из Народного республиканского движения – "Об". У "Фигаро", крупной "буржуазной" газеты, хватило в свое время ума и политического расчета перебраться в Лион. Это произошло 11 ноября 1942 года, а 24 августа 1944-го редакция вернулась в Париж. Сопротивление также породило ряд газет: "Комба", "Фран-тирёр", "Фрон насьональ". Недолговечная газета "Ом либр", позднее просто "Либр", представляла собой орган Национального движения военнопленных и депортированных. Главным редактором там был франсуа Морлан, он же франсуа Миттеран. <...>

"Комба", как и "Фран-тирёр", не зависела ни от каких политических или финансовых организаций. Директором был Паскаль Пиа, Камю – главным редактором. Начиная с 21 августа Камю постоянно пишет о свободе прессы как о новом завоевании. "Вновь отвоевать видимую свободу – это еще не все, Франция владела и довольствовалась ею с 1939 года. (Пиа и Камю имеют в виду свой алжирский опыт и разочарования). И мы бы выполнили лишь малую толику нашей задачи, если бы завтрашняя французская республика, подобно Третьей, всецело зависела от денег. Все помнят, что борьба против денежных магнатов долгое время была главной заботой Петена и его команды. Но все помнят также и то, что никогда Деньги так тяжело не давили на наш народ, как с июня 1940-го, то есть с того времени, когда власть захватили предатели и французы, чтобы сохранить свои права, вынуждены были связать собственные интересы с интересами Гитлера". Картина упрощенная и аллегорическая, но зацеплено хорошо. <...>

Правительство распределяло бумагу для издания газет по политическому принципу. Социалисты и коммунисты оказались в привилегированном положении. "Попюлер" и "Юманите" имели право одна – на 250 тысяч, другая – на 300 тысяч экземпляров. "Сё суар" и "Дефанс" – на 250 тысяч каждая. "Комба", "Фран-тирёр" и "Либерасьон" должны были довольствоваться 180 тысячами. Кроме того, де Голль поддерживал "Иллюстрасьон", которая, как он считал, ориентирована на посольскую публику.

– Не знаю, что там в посольствах, а у парикмахеров она всегда есть, – заявил как-то Паскаль Пиа.

Власть коммунистов опиралась на двойной миф: о Советском Союзе и об ФКП. Опровергнуть его не пытались ни правые, ни левые. Для большинства французов СССР был прежде всего родиной Красной Армии. Говоря о “великих демократических системах”, СССР ставили в один ряд с Великобританией и Соединенными Штатами. Советско-германский пакт о ненападении начисто стерся из коллективной памяти, не вспомнили о нем даже интеллектуалы. В журналистских кругах мало кто знал правду о советских лагерях. С появлением в Париже депортированных внимание общественности обратилось к немецким концлагерям. СССР оставался в сознании людей передовым государством рабочих и крестьян. Камю по инерции все еще считал, что советский народ поддерживает свой режим: как бы иначе Красная Армия победила немцев? Революция, думал он, неизбежно ведет к социализму и определенному типу коллективизма. Советский вариант, разумеется, в чем-то несовершенен, но, во всяком случае, показателен и поучителен. Советский Союз – родина пролетариата, хоть Маркс и утверждал, что у пролетариата нет родины. Во Франции на роль выразителя интересов пролетариата претендовали коммунисты. Это произвело сильное впечатление на Сартра и многих других французов. После освобождения французская компартия заявила, что она потеряла в расстрелах шестьдесят тысяч человек – проверка дала иные данные: казнено двадцать девять тысяч коммунистов. Компартия распространяла двойную легенду: будто рабочие активнее, чем все остальные классы, участвовали в Сопротивлении и будто в Сопротивлении больше всего было коммунистов. Несмотря на настороженную недоверчивость приверженцев де Голля, коммунисты сумели занять важные посты в государственных структурах и в прессе. Личности типа Камю были им неопасны. Будущая революция должна была свершиться силами ФКП, которая рассчитывала получить 25 процентов голосов на ближайших выборах. Среди левых бытовали приблизительные и поверхностные представления об экономике: капитализм есть воплощение денег, преступлений и злодеяний; социализм, напротив, несет с собой благоденствие, счастье и социальную справедливость для обездоленных. Даже де Голль заявил, что поддерживает национализацию. Из горнила Сопротивления вышли люди, ослепленные упрощенными и опасными революционными идеями о том, каким должно быть общество в одной отдельно взятой стране и во всем мире. Камю исключением не являлся.

Он был уже известен как писатель. Благодаря своим статьям в “Комба” он стал видным журналистом. Его романы знали тысячи читателей, под впечатлением его передовиц находились сотни тысяч французов. У Галлимара Камю по-прежнему оставался членом редколлегии. Но поскольку в “Комба” Пиа взял на себя функции и главного редактора, и директора, Камю снова смог заняться “Чумой”. Он считал, что уделяет роману недостаточно внимания. Он много работал в газете, страстно любил Казарес, по вечерам долго засиживался в погребках Сен-Жермен-де-Пре, Монпарнаса и Монмартра: приходил в себя после сдачи очередного номера. <...>

НОВЫЕ БИТВЫ

О романе Камю и Казарес известно всем. Внешне они выглядят счастливыми, но что делать в дальнейшем – не знают и даже подумывают эмигрировать в Мексику. Вскоре после освобождения Франции Камю пишет жене, застрявшей в Оране:

Мой милый, у меня появилась возможность отправить тебе скорую весточку, чтобы ты знала, что я жив-здоров. Вот уже сколько месяцев от тебя нет известий, и ты, я полагаю, тоже ничего не знаешь обо мне. У меня все в порядке, хотя немного устал. Сейчас не могу рассказать тебе всего, что произошло за эти два года. Попробовал было перебраться в Испанию, но там пришлось бы отсидеть много месяцев в тюрьме или в лагере. Мое здоровье не позволяло этого, так что вынужден был от подобной мысли отказаться. Примкнул к движению Сопротивления. Я много думал перед этим и знал, на что иду, это был мой долг. Сначала работал на Верхней Луаре, затем в Париже с Пиа, в движении “Комба”. Все остальное вытекает из того, что я тебе сказал, об этом потом. Шесть недель назад меня едва не арестовали, пришлось на время исчезнуть. А потом настали блаженные дни парижского восстания и работы над газетой “Комба”. В настоящее время мы с Пиа работаем вдвоем – вполне успешно. Не знаю, сумею ли вырваться из Парижа, но как только будет возможность, пришлю тебе денег, и ты переберешься сюда.

Я столько, столько должен тебе рассказать, но совершенно теряюсь, с чего начать. Теперь все встанет на свои места, Франция – свободная страна, и я совершенно счастлив. Я все время помнил, что это нужно для того, чтобы мы снова оказались вместе. Так что у меня было два стимула.

Виделся с Андреем [художник, друг Камю], он рассказал о тебе. Ты работала, играла в оркестре, не знаю еще что. Я почти заболел, узнав это.

Впрочем, теперь все позади. Деньги у меня есть, и ты сможешь не работать, заниматься музыкой.

Посылаю тебе это спешное письмо, потому что терпения не хватает дождаться обычной почты. Если можешь, ответь на адрес газеты: “Комба”, улица Реомюр, 100. Или в “НРФ”: улица Себастьян-Боттена, 5. Скажи мне, что ждала меня и что я снова вернусь к тебе, как прежде.

Нежно-нежно тебя целую. Альбер.

Целуй всех твоих и мою мать тоже.

Интонация Камю в этом письме скорее дружеская. В большей степени брата, нежели мужа.

Семейство Форов сообщило, что едет в Париж. Первой явилась Кристиана, свояченица и добрая подруга Камю. Она мгновенно оценила ситуацию и стала искать способ, как уберечь младшую сестру от неприятного сюрприза. Сама-то Кристиана вполне понимала любовь Камю к женщинам. Теща, Фернанда Фор, тоже не должна была ни о чем догадаться. Наконец в октябре 1944 года в Париж приехала Франсина. Супружеская чета поселилась в махонькой квартирке на улице Вану. Не виделись они долго, привыкали друг к другу с трудом. <...>

В первые месяцы после освобождения статьи и репортажи “Комба” сохраняют живость стиля, но остаются вполне обычными. Они, правда, менее традиционны, чем материалы “Фигаро”, и менее чопорны, чем иные тексты “Монд”, которая снова стала выходить с декабря 1944-го.

Передовицы “Комба” (либо вообще без подписи, либо подписанные инициалами А. К., А. О., Ф. Б. – Альбер Камю, Альбер Оливье, Франсуа Брюэль) выстреливают отточенными, резкими фразами. Журналистскую тактику и стратегию определяет Камю. Через несколько дней после освобождения он провозглашает: “Мы решили отменить политику и заменить ее моралью...” Подхватив тему, начатую Пиа в “Суар републикен” – о методах журналистики, – он разрабатывает теорию журналистики. Хайдеггер спрашивал: “Что есть метафизика?” Камю чуть смещает острие вопроса: “Чем должна быть журналистика?” Далее, в течение нескольких месяцев он формулирует вопросы и пытается на них ответить.

“Комба” выходит тиражом 182 тысячи экземпляров, но 30 процентов зачастую остаются нераспроданными. Морализаторский тон Камю раздражает его противников. Откуда он взялся, этот молокосос, этот выскочка, который позволяет себе учить других? Парижские журналисты совсем или почти совсем не знают алжирских газет, в которых сотрудничал Камю. Местоимение “мы”, столь часто им употребляемое, воспринимается как знак превосходства, хотя на самом деле оно несет в себе оттенок коллективизма, единодушия. “Чего мы хотим? Вразумительных и мужественных журналистских текстов, написанных пристойным языком”. Камю хочет, чтобы газеты не зависели от денег и чтобы “тон их и правдивость будили в читателе все лучшее”. Он считает, что хорошая газета должна искать наибольший общий знаменатель со своим читателем, ни в коем случае не наименьший. Уже через десять дней после появления статей нового типа Камю ими “не вполне доволен”. Вот как он отзывается о “Дефанс де ла Франс”: “Все знают, чего нам стоило взять Мец. Когда на следующий день после этих событий мы находим в газете репортаж о приезде в город Марлен Дитрих, это не может не вызвать раздражения. И наше возмущение справедливо... Хотя это вовсе не значит, – добавляет он, – что газеты непременно должны быть скучными”. И как заключительный аккорд: “Просто нам кажется, что в военное время капризы кинозвезды менее важны, чем народная боль, кровопролития и отчаянные попытки всей нации обрести истину”. В “Комба”, как прежде в “Альже републикен”, Камю требует, чтобы журналисты не стеснялись выражать сомнения, неуверенность, обеспокоенность или употреблять сослагательное наклонение. Впрочем, в “Монд” принят тот же стиль. Порой “Комба” дает недостоверную информацию: если верить шведскому радио, Гитлер скончался... Что ж, “Комба” тоже может ошибаться. Почитать подшивку за конец 1944 года, так можно подумать, что франксистская Испания разваливается на части. Камю требует от журналистов “тона”, стиля. Он ставит вопрос об индивидуальной одаренности и о коллективной честности. Читателям по вкусу объективность “Комба”, число подписчиков увеличивается. Ратуя за “объективность и осторожность”, Камю отмечает в “Суар републикен”, что журналист – это, “в сущности, историк-хроникер”. Он приглашает к сотрудничеству молодых репортеров и старых обозревателей. В эти месяцы Камю не жалуется на усталость. Хотя прав Жид, написавший: “Журнализм – вредное занятие:

вы обязаны писать, когда вам этого вовсе не хочется. У вас нет вдохновения; вы плохо переносите духоту, перо скрипит, мысль ускользает, фраза разваливается”.

Чтобы придать газете веса, Пиа и Камю приглашают к участию литераторов: Жида и Бернаноса. Сам Камю тоже не забывает о своей причастности к литературе. Ключевые темы он бережет для книг, а на листах с оттиском “Комба” делает записи:

Кризис человека

Можно ли в человека верить? .

Верить также в то, что он способен на что-нибудь замечательное

Нет, невозможно

ни в плане абсолютного материализма, ни в плане абсолютного спиритуализма.

Для передовиц у Камю разработана формула: одна идея, два примера, три страницы. Он набрасывает тезисы, составляет план, затем диктует текст секретарше. Разумеется, статьи он шлифует меньше, чем литературные тексты. Он формулирует принципы политической морали и моральной политики: “Мы здесь не верим в окончательность революций”. Коммунистом Камю быть уже перестал. Перестал быть и марксистом, если вообще когда-то им был. Он не верит также в то, что история непременно должна завершиться победой социализма. “Революция – бунт. Бунт – это то, что в течение четырех лет подхлестывало Сопrotивление. То есть полный, упорный и вначале почти слепой протест против приказа, который должен поставить людей на колени. Бунт исходит прежде всего из сердца. Затем наступает момент, когда он перемещается в мозг, и тогда чувство становится идеей, а безотчетный порыв превращается в согласованное действие. Тогда-то и начинается революция”.

Две величайшие революционные модели – это Франция 1789 года и Россия 1917-го. Камю подчеркивает: “Революция – это совсем не обязательно гильотина и пулеметы, вернее, это именно пулеметы, но только когда нужно”. Он допускает неизбежную долю насилия. Камю объясняет, за какое общество ратует “Комба”: “Мы хотим, чтобы во Франции была коллективистская экономика и либеральная политика”. Громя капитализм и превознося социализм, он не задумывается о том, как рыночная экономика сможет развиваться в условиях коллективизма, – прекраснoдушноe заблуждение многих представителей этого поколения. Камю импонируют английские лейбористы и скандинавские социал-демократы. Он пишет: “Мы хотим немедленного воплощения народной демократии”. Но ни он, ни его друзья и не подозревают, что расцветающие в Восточной Европе, Азии, Африке и Америке “народные республики” на деле являются какими угодно, но только не народными и не демократическими. Арагон чуть позже скажет: “О том времени надо говорить языком того времени”. Сочетание “народная демократия” окажется долговечным.

Вскоре встал вопрос о чистках, наказании и ликвидации коллаборационистов. Для Камю это была в первую очередь моральная проблема. Чистки среди промышленников тоже случались, но не так часто, как среди интеллигенции. Органы юстиции интересовались больше журналистами и писателями, чем предпринимателями “Атлантического вала”. Камю считал, что в чистках важно не количество, а тщательность. Вокруг еженедельника “Леттр франсез” и в Национальном комитете писателей сложилась группа ревностных сторонников чистки: Арагон, Элюар, Бенда, Веркор и Морган, Сартр и Симона де Бовуар. Морган занял непримиримую позицию: “То, что Жионо молчал, – писал он, – уже само по себе преступление!” Образовался комитет по чистке в издательской сфере, куда вошли самые бесстрашные – издатели, претворявшие в жизнь принципы “Пропаганды Стаффель” (Жан Файар), старые социал-демократы (Франсиск Ге), сочувствующие коммунистам (Пьер Сегерс) и временные сторонники (Сартр). “Чистильщики” собирались в частном особняке недалеко от Елисейского дворца. Кто меньше всех участвовал в Сопrotивлении, активней всего выступал за наказание других, тех, что скомпрометировали себя коллаборационизмом.

Жан Полан и Франсуа Мориак, видные бойцы Сопrotивления, привлекли к себе всеобщее внимание. В сентябре 1944-го Полан ушел из редакционного комитета “Леттр франсез”, который опубликовал “черный список” писателей: около сотни. Он вышел также из Национального комитета писателей. Камю и Мориак, один со страниц “Комба”, другой – “Фигаро”, оба включились в борьбу. Камю тоже ушел из комитета писателей, адресовав Полану следующее письмо: “Буду Вам очень признателен, если сообщите нашим товарищам о моем уходе... Мне трудно мириться с обстановкой, в которой объективность представляется злостной критикой, а элементарная нравственная независимость принимается в штыки... Я отхожу в сторону, а в скором времени смолкну окончательно, ибо такая позиция влечет меня все больше”. Мориак

как христианин призывал к милосердию; как буржуа он пекся о примирении французов, столь необходимом, по его мнению. Судя по всему, он был также обеспокоен судьбой собственного брата, Пьера Мориака, который при Петене возглавлял Совет врачей. Мориак предостерегал: “Нам не нужна игра в палачей и жертв, мы хотим большего. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы I V Республика уподобилась гестапо”. Камю в статьях позволял себе больше личных нападок и риторических перегибов. Он опасался, что инициаторы чисток займут позицию, близкую той, с которой выступала оккупационная пресса, хоть и с противоположным знаком. Он категорически не приемлет смертной казни вообще и гильотины как ее французской разновидности. В его памяти живы рассказы бабушки и матери о том, как отца рвало, когда на его глазах публично казнили человека. Эта история всю жизнь не давала Камю покоя, она – главное, что осталось ему от отца.

В своих передовицах Камю не сразу начал говорить все, что думает. В общих чертах дело сначала обстояло так: Мориак призывал к милосердию, Камю – к справедливости. Мориак, академик и человек бывалый, сильно задел Камю, сказав, что тот “смотрит на мир с высот еще не написанного произведения”. Камю отмечал: “Всякий раз, как я, рассуждая о чистках, говорю о справедливости, Мориак говорит о милосердии. Милосердие же вещь настолько своеобразная, что я, требуя справедливости, выступаю, получается, поборником ненависти. Если верить Мориаку, мы каждый день стоим перед выбором: любовь к Богу или ненависть к людям. Нет!” Камю и Мориак достойны друг друга как противники. С октября 1944-го по январь 1945-го весь литературный и политический Париж наблюдает за их схваткой. В нее вступают и другие, но яростней всех звучат голоса пятидесятидвухлетнего, умудренного опытом Мориака и молодого Камю – ему всего тридцать один. Как-то, прочтя статью Камю и потрясая номером “Комба”, Мориак победоносно заявил Пьеру Бриссону, директору “Фигаро”: “Он у меня в руках!” Оба автора пишут об ответственности, в период оккупации лежавшей на плечах журналистов и писателей. Они полны иронии и без промаха бьют в цель. Сталкиваются две нравственные позиции: религиозность старого поколения и безверие молодого. Оба противника прошли сквозь горнило Сопrotивления: у Камю репутация основателя “Комба”, у Мориака – журналиста, писавшего в “Эдисьон де Минюи” под псевдонимом Франсуа Ла-Колер (Гневный). Отношения их чрезвычайно сложны: обоюдное уважение сменяется раздражением, изумлением, взаимными провокациями. Мориак, начав публиковаться в “Фигаро”, занял антифранкистскую позицию. Камю это тронуло.

Что касается самой необходимости чисток, то она не вызывает сомнений ни у того, ни у другого. Вначале Камю не отрицает возможности смертной казни. Оба полемиста требуют одного: передачи дел в руки беспристрастных судей и юридически обоснованного судебного процесса. Коммунистам были выгодны скоропалительные народные расправы. Камю и Мориак против: освобождение может пробудить как возвышенные чувства, так и самые низменные инстинкты. Но позиция Камю через некоторое время меняется. Еще 4 сентября 1944 года он требует “быстрого и неукоснительного свершения правосудия”. 9 сентября вместе с Мориаком и другими литераторами он подписывает в “Леттр франсез” манифест о “наказании самозванцев и предателей”. Но определить, кто такой предатель, труднее, чем разобраться с самозванцем. Вскоре Камю отказывается от идеи быстрого народного возмездия и со страниц “Комба” провозглашает: “Мы отстаиваем свободу даже для тех, кто против нее боролся”. Что такое предатель? Камю считает, что предатель – это “инородное тело”, которое надо ликвидировать. Ликвидировать – значит уничтожить физически. В той же статье Камю, полемизируя с Мориаком, заявляет, что, когда речь идет о предателях, правосудие “должно заставить сострадание смолкнуть”... Через четыре месяца после освобождения Камю уже с возмущением реагирует на некоторые судебные процессы в Париже и за его пределами: “Страна, которая окажется несостоятельной в чистке, будет несостоятельной и в возрождении. У наций – лицо их правосудия. Хорошо, если бы французы вместо теперешней растерянной мины показали миру другое свое лицо.”

Камю обвиняет Мориака: тот – “писатель настроения, а не здравого рассуждения”. А писать нужно, утверждает он без тени улыбки, позабыв про настроение. Камю рассуждает как хладнокровный издатель, как Раймон Арон, который редко показывает свои чувства и не поддается легкому соблазну сенсационности. Камю утверждает, что Мориаку нравится прощать; он и сам готов простить вместе с Мориаком, когда ему “позволит жена Лено”. Лено был другом Камю. Поэт, участник Сопrotивления, он попал в облаву и был расстрелян незадолго до освобождения. Спустя семь месяцев, 11 января 1945 года, Камю написал: “До самого последнего мгновения мы будем отказываться от божественного милосердия, если оно препятствует восстановлению человеческой справедливости”. Были казнены Жорж Суарес и Поль Шак.

Судьба Робера Бразийяка, писателя и журналиста, приговоренного к смерти 19 января, сильно взволновала Камю. Представители интеллигенции обратились к де Голлю с просьбой о помиловании. Некоторые из них считали, что тексты не так уж серьезно компрометируют писателя. Другие – что разным преступлениям должны соответствовать и разные наказания. Третьи опасались, что суровое осуждение вызовет цепную реакцию, помешает примирить сторонников де Голля и Петена и усилит внутринациональные распри. Подписавшие прошение напомнили де Голлю, что отец Бразийяка, лейтенант, погиб 13 ноября 1914 года, вскоре после смерти Камю-отца. Неубедительный довод. Подписавших было пятьдесят девять, в их числе композитор Артур Онеггер, художник Вламинк, писатели Валери, Клодель, Жан Ануй, Кокто, Колетт, Полан и Мориак. Марсель Эме обратился к автору передовиц “Комба” 25 января 1945-го. Он попросил его “проявить сострадание и чувство литературного братства. . . я мог бы сказать, просто братские чувства. Мне представляется, в формировании политических мнений велика доля случая”. Эме кажется искренним и убежденным, но он допустил одну ошибку. Были арестованы французы, работавшие в гестапо, вместе со своим начальником Бонни. Эме позволил себе рискованное заявление: “Как-то я сказал одному своему другу, что если бы франсуа Вийон попал в оккупацию, то, вероятно, примкнул бы к команде Бонни (в гестапо)”. Эме добавил, что если Камю согласен с прошением, он должен написать адвокату Бразийяка, Жаку Изорни.

27-го Камю ответил письмом, где не скрывал ни своих чувств, ни опасений. С Марселем Эме он был знаком шапочно, произведения его не очень любил. “Из-за Вас я не спал ночь. В результате сегодня я подписал и отправил то, о чем Вы просили. . . Я всегда ненавидел смертную казнь и решил, что не могу, пусть даже косвенно, чувствовать себя к ней причастным. . . Это все. Полагаю, друзья Бразийяка, узнав о моей щепетильности, только расхохочутся. Что же касается самого Бразийяка – если его помилуют, если через пару лет выйдет амнистия и его освободят, как это обычно бывает, то я бы хотел, чтобы он знал: не ради него я поставил свою подпись рядом с вашими под этим прошением, ибо я считаю его ничтожеством как писателя и презираю всей душой как человека”. Камю намекает на Лено, на “нескольких друзей, замученных и убитых сторонниками Бразийяка в то время, когда он в своей газете поддерживал немцев и коллаборационистов”. На вопрос об идеологии и лагере, Камю отвечает так: “Вы говорите, что велика доля случая в формировании политического мнения. Не знаю. Зато я знаю, что в выборе того, что вас может обесчестить, случайного нет”. Вспоминая расстрелянных борцов Сопротивления, он добавляет: “Моя подпись не случайно оказалась в прошении о помиловании, а вот подпись Бразийяка ни разу не появилась в защиту Жоржа Политцера или Жака Декура”. Политцер и Декур (основатель журнала “Леттр франсез”) были казнены немцами; они с Камю принадлежали к одному поколению. Письмо заканчивается пожеланием, чтобы Эме передал Бразийяку все вышесказанное, а также, что “Камю далек от ненависти и чувствует скорее склонность к уединению, нежели к политике. Возможно, что Бразийяк поймет, что именно он сделал не так и почему Камю никогда не пожмет ему руку”.

Сартр, Симона де Бовуар и еще несколько литераторов отказались подписывать прошение. Бовуар не могла забыть гибель Политцера и Робера Десноса. Если бы она хоть пальцем пошевелила для спасения Бразийяка, заявила она, друзья имели бы полное право “плюнуть ей в лицо”. Что касается самого Бразийяка, то он совершил преступление не только в плане идейном: “Своими разоблачениями, своими призывами к убийствам и геноциду он напрямую помогал гестапо”, – объясняла она. Бразийяку отказали в помиловании. Перед расстрелом 3 февраля в тюрьме Френ он подтвердил, что все знает: “Несмотря ни на что, вопреки всем распрям и баррикадам некоторые французские интеллектуалы сделали жест, который мог бы оказать мне честь”. Не интеллектуалы вообще, а некоторые интеллектуалы.

После Бразийяка никто из признанных французских писателей казнен не был – только журналисты: Жан Люшер, председатель Федерации французских журналистов и директор коллаборационистской газеты “Нуво тан”; а также Жан Эрольд-Паки, ведущий работник “Радио-Пари”, который заканчивал свои репортажи всегда одной и той же фразой, произносимой хриплым голосом: “Англия, как и Карфаген, будет разрушена”. Журналист Шарль Моррас был приговорен к заключению.

Камю выступил также в защиту Люсьена Ребате: “Меня просят поставить подпись под ходатайством о помиловании Люсьена Ребате. В мои намерения не входит скрывать его преступление. Напротив, мне пришлось до победного конца сражаться с ним. Но теперь он приговорен к смертной казни, и другие, более сильные чувства заставляют меня защищать его. Говорить и думать можно что угодно, но нет в мире

страны, которая бы не даровала жизнь осужденному. Казнить человека несложно, гораздо важнее и поучительнее заставить его задуматься о своей ошибке. Вот в общих чертах те соображения, которые заставили меня подписать прошение о помиловании. Прошу поверить, что это был трудный шаг”.

Когда кончили судить писателей, очередь дошла до политиков. Камю присутствовал на процессе Петена: смертная казнь по распоряжению де Голля была заменена пожизненным заключением. Камю же требовал “самого безжалостного правосудия”. Но в любом преступнике он неизменно находил “некоторую долю невиновности”.

В противовес Мориаку, проповедовавшему божественную справедливость, то есть прощение, Камю ратовал за справедливость человеческую. По его мнению, далекие от церкви люди должны непременно выбрать человеческую справедливость, какой бы несовершенной она ни была. Именно она должна стать принципом чистки, хотя без ошибок и несправедливых решений обойтись трудно. Проблема свободы вытекает непосредственно из проблемы справедливости.

Справедливость и свобода для Камю противоречат друг другу. В июле 1945-го он записывает в дневнике: “Бунт. В конечном итоге я выбираю свободу. Потому что даже если правосудие не свершилось, свобода оградит власть от выступлений против несправедливости и спасет взаимопонимание. Правосудие в безмолвном мире, правосудие молчунов разрушает понимание, обесмысливает бунт и восстанавливает согласие, но только в наиболее низкой его форме. Вот когда становится ясной первостепенная значимость свободы”. <...>

8 августа 1945-го единственный из журналистов, кто с негодованием отозвался о взрыве атомной бомбы в Хиросиме, был Камю. Для большинства французов, равно как и для газетных обозревателей, этот взрыв означал конец войны. Гибель сотен тысяч японцев гарантировала жизнь американцам. “Техническая цивилизация достигла последней степени зверства, – пишет Камю. – В ближайшем будущем можно будет выбирать между коллективным самоубийством и умелым применением научных достижений”. Камю был первым, кто отреагировал быстро. Он не отрицал, что атомная бомба – действенное средство. “Мы хотим, чтобы нас правильно поняли, – пишет он. – Если японцы, напуганные разрушением Хиросимы, капитулируют, мы можем это только приветствовать”. Агентство “Рейтер” заявило, что создание атомной бомбы делает ненужными переговоры. Камю возражает: наоборот, отныне договариваться надо будет “еще энергичней, чтобы создать международное сообщество, в котором крупные мировые державы не будут иметь никаких преимуществ перед маленькими государствами”. Симона де Бовуар тоже была потрясена взрывом Хиросимы, но они с Сартром не высказывались на эту тему публично. <...>

ОСТРОВ НА СЛИЯНИИ ТРЕХ РЕК

<...>

В сентябре 1945-го Камю отправился в Нью-Йорк. Пригласила его жена американского издателя Бланш Кнопф. Альбер передал приглашение в Дирекцию по делам культуры Министерства иностранных дел, которое согласилось оплатить дорогу. Культурные связи – достойная, полезная и очень французская статья расходов. Это также современная форма соперничества между бывшими союзниками за культурное воздействие на другие народы. К счастью, культурные связи нередко превращаются в культуру связей за рубежом.

Камю предложил две темы лекций: “Год свободной журналистики” и “Защитительная речь в пользу Европы”. Он заверил американскую сторону, что его лекции не будут носить политический характер. Для получения американской визы ему пришлось заполнить две анкеты, в которых он подтвердил, что едет в Соединенные Штаты не с целью убить президента и что никогда не принадлежал к коммунистической партии. В последнем он также торжественно поклялся Морису Надо – к величайшему его изумлению.

10 марта 1946 года Камю сел в Гавре на грузовое судно “Орегон”, имевшее несколько кают. Среди пассажиров были жены посольских служащих, работник посольства, торговец мехами и психиатр Пьер Рюбе. “Орегон” был довольно неудобным тихоходом. Все развлечения сводились к коктейлям у капитана. Камю делил каюту с Рюбе и еще одним французом. Он перечитывал “Войну и мир”, занимался английским. Альбер достаточно быстро разобрал английские тексты, неплохо понимал, но говорил плохо. <...>

В Нью-Йорк “Орегон” пришел ночью. Камю записал в дневнике: “Вдали на туманном фоне вырисовываются небоскребы Манхэттена. Сердце мое спокойно и холодно, как всегда, если что-то меня не трогает”. К 11 часам пассажиры высадились на берег. Единственный, кто вызвал у таможенников подозрение, был Камю. Но и его в конце концов, извинившись, отпустили, и один из французских служащих отвез его в гостиницу.

Вначале по Нью-Йорку Камю водила Долорес Ванетти Эренрейх, бывшая замужем за американским врачом. Эта миниатюрная, изящная женщина работала в Управлении военной информации. “Она говорит на самом чистейшем сленге, который мне когда-либо доводилось слышать”, – записал Камю. В Долорес был влюблен Сартр. Бовуар очень ревновала его к этой новой музе, опасаясь, как бы та не заменила ее, незаменимую. Долорес же призналась Альберу: “Ты можешь себе представить, я спала с Наполеоном!” Она также объяснила Камю, что американцы не любят идей. Камю не принял всерьез это вполне французское высказывание: “Так всегда говорят. Не верю”. Он живо интересовался всем: бытовыми мелочами, событиями повседневной жизни. Отметил неумеренное потребление скотча с содовой в культурных кругах, тягу к роскоши и дурной вкус, проявляющийся даже в выборе галстуков, а также любовь к животным, включая горилл в Централ-парке и простейших в Музее естественной истории; фруктовый сок, который пьют по утрам, необыкновенно вкусное мороженое, стабильные цены и резкие перепады температуры; миллионы светящихся в темноте окон, горячие ванны, курсы витаминов и яичницу с беконом, поглощаемую в “дрогсторах”. Нью-Йорк явился Камю сногшибательным мегаполисом, слепленным из пятнадцати городов, пронизанных электрическим светом, “свистящих, горланящих, вкалывающих и развлекающихся с каким-то механическим отчаянием”. Он нашел, что американцы “сердечны и гостеприимны, но равнодушны, непривередливы и легко забывают”. Полиция никогда не проверяет у прохожих документы. А “секрет беседы тут состоит в том, чтобы говорить, ничего не сказав”. <...>

16 апреля после “до одурения скучной” встречи с главным редактором журнала “Вог” Альберу представили Патрисию Блейк, голубоглазую красавицу с каштановыми волосами, дочь врача и пианистки. Патрисию отлично говорит по-французски, очень умна для своих двадцати лет и заканчивает исторический факультет одного из лучших женских университетов Америки – колледжа Софии Смит. В колледже она живет во французском доме и изучает французскую литературу XV–XX веков. Время от времени пишет статьи для литературного отдела “Нью-Йорк таймс” и журнала “Вог”. К тому же она бакалавр искусств.

С женщинами Камю обычно применял тактику пикирующего бомбардировщика. Как правило, операция заканчивалась победой. Потом Камю опять взмывал ввысь. После первой же встречи он попросил Патрисию провести с ним следующий день. Девушка согласилась – и они уже не расставались. Альбер открыто появлялся с ней повсюду и признался Пьеру Рюбе, что не на шутку влюблен. Он жил на улице Централ-парк-уэст в двухэтажной квартире, состоявшей из гостиной, кухни и двух комнат. Все это предоставил в его распоряжение один торговец мехами, почитатель его таланта некий Зэхаро. Камю сказал Рюбе:

– Вы не находите, что эта крошка Патрисию удивительна для своих лет? Она типичная американка?

Рюбе ответил, что она необыкновенна и совсем не похожа на других американских девушек; более того, она “исключительна”. Он, конечно, не специалист по этой части, но в ней чувствуется талант, она действительно очень одарена и весьма умна при внешней наивности. Камю улыбнулся. Патрисию взяла на себя приятный труд сопровождать его на лекцию в Брин-Мор-колледж. Вид этой пары многих шокировал. Но Альберу тридцать три года, он уже достаточно опытен, чтобы быть Пигмалионом, и слишком молод для роли гуру. Он тоже помогает Патрисию – учит ее огибать рифы в плавании по морям литературы и океанам политики. Патрисию открывает для себя Пруста. “Великое откровение”, – говорит она. “Полуоткровение”, – уточняет Камю. Девушка больше, нежели он сам, увлечена поэзией. Альбер пишет для нее рекомендательное письмо к Сен-Жон Персу. Патрисию придерживается прогрессивных взглядов, симпатизирует коммунистам, запоем читает Маркса и Ленина; Камю находит противоядие. Коммунистические вожди, говорит он, не всегда утописты, они еще и убийцы. <...>

Камю предложил Патрисию перепечатать несколько страниц “Чумы”. В его дневнике запись: “Чума”. Тарру отправляется к испанским танцовщицам. Он любит по-настоящему только страсть”. Патрисию и Альбер переживали именно страсть. Они

– как “остров на слиянии трех рек”; так Камю называл Нью-Йорк.

В Америке Альбер слегка прибавил в весе, но чувствовал себя смертельно усталым. Ему казалось, что он скоро умрет. Он упивался своим мрачным настроением, готовил предсмертные слова, произносил их и слушал. Расспрашивал про американские похоронные обряды. <...>

В письме, которое Камю написал Мишелю и Жанине, сквозит усталость: “Ну вот, я наконец готов покинуть эту Америку... Мысленно я уже покинул ее, оставив здесь лишь бездушную оболочку, прилично одетую надо заметить, которая продолжает бродить среди восьми миллионов мертвецов, которые тоже только делают вид, будто живут в этой немыслимой столице”. <...>

Вернувшись во Францию, он рассказал о своем путешествии Понсе. Тот спросил, почему Альбер не опубликует свои впечатления. Камю ответил: “Я повсюду находил радушный прием, везде абсолютно свободно высказывал свои мысли. Я не буду, подобно Сартру, плевать в тарелку после того, как съел угощение”. Луи Жермену, другому своему знакомому, он сказал, что Америка – “это огромная страна, сильная и дисциплинированная при всей своей свободе, но много чего не знающая, и в первую очередь не знающая Европы”.

ЕДИНСТВЕННАЯ

Для тех, кто много общался с четой Камю – это Жанина, Мишель и Робер Галлимары, – было совершенно очевидно, что к Франсине Альбер питал братскую нежность. Но нежность его часто сменялась раздражением, и Франсина страдала. Она была очаровательна, добра, трогательна, с тихим, спокойным голосом. Со стороны казалось, будто она постоянно пребывает в состоянии нерешительности: какую пластинку выбрать, куда поехать отдохнуть. Когда супруги шли куда-нибудь обедать с друзьями, Камю предпочитал заехать за ней домой, опасаясь, что она долго прособирается и опоздает. “Кроме того, если мы должны встретиться с Ивлином Во, я вынужден напоминать ей, что этот писатель – мужчина”, – признавался Камю.

Франсина много занималась музыкой, брала частные уроки. В течение шести месяцев она работала у Галлимара в отделе авторских прав. Потом в Париж явилась ее мать, Фернанда Фор, и жить стало сложнее.

– Вот уж не думал, что женюсь сразу на четырех женщинах, – в отчаянии жаловался Камю.

Мать и обе сестры, желая защитить Франсину, только отдаляли ее от мужа: когда бы Камю ни пришел домой, он всегда заставал у себя семейство Форов. Франсина беспрекословно слушалась мать и старшую сестру Кристиану, которая была все же не столь сурова, как Фернанда, и относилась ко всему с юмором. Кристиана вела выжидательную политику, считаясь с чувствами других и применяясь к обстоятельствам. Что же касается мадам Фор, то она обладала всеми добродетелями образцовой вдовы, твердыми нравственными принципами и эгоистической преданностью “дочурке и дорогим близнецам” (в 1948 году им исполнилось по три года). В семье Форов Франсина была младшей, любимицей, которую отдали в чужие руки, – кроме Альбера, других мужчин в этом клане не было. Хорошо еще, что у него наконец-то появилась приличная работа, он стал известен. Все бы ничего, если бы не эти вечные истории на стороне... Да и как можно, чтобы семья то и дело переезжала с места на место!

С тещей и второй свояченицей, Сюзи, Камю держался отчужденно, чувствуя их враждебность. Кристиана же его забавляла, особенно когда украдкой носила его белье. И все же роль мужа Камю не удавалась, он явно не был создан для семейной жизни. У Франсины случались приступы глубокой депрессии. Она никогда не жаловалась, не разыгрывала из себя томную, умирающую от любви женщину, но преданно, мучительно любила своего мужа.

Многими бытовыми проблемами Камю занимался сам: плата за квартиру, газ и электричество, страховка, социальные платежи, налоги. Все те месяцы, пока он был в Америке, Франсина не могла даже заполнить декларацию о доходах. Принимая на себя роль главы семейства, Камю тем не менее требовал личной свободы. Разве он когда-нибудь говорил, что хочет жить именно так – в окружении многочисленной родни и даже целого клана? Иногда он с трудом владел собой. Франсина была для него прежде всего матерью близнецов, которых он любил и которыми охотно занимался. Но он часто болел, и тогда Фернанда Фор была незаменима.

Где Альберу было действительно хорошо, так это у Галлимаров: у Жанины и Мишеля. К ним со временем прибавился двоюродный брат Мишеля, Робер, который в 1952-м женился на Рене, родной сестре Жанины. Камю открыл для Робера мир литературы. Симпатия между ними возникла с первой же встречи:

– Я играю в регби, – сказал Робер.

– А я в футбол, – ответил Альбер.

Девиз на улице Себастьян-Боттен (там находится издательство “Галлимар”) был такой: литература, эндогамия и братство. Но иногда члены клана вели себя скорее как братья Атриды. Мишель не очень-то ладил со своим кузеном Клодом, сыном издателя Гастона Галлимара. Зато Камю прекрасно чувствовал себя в обществе Мишеля и Жанины и по-родственному относился к Анне, дочери Жанины и Пьера. Мишель обожал всякие затеи, игрушки, заваливал близнецов Камю подарками. Альбер протестовал, но не слишком настойчиво. От Жанины и Мишеля у него не было тайн. Жанина была красива, непосредственна, обладала колдовским голосом и манерой чуть шепеляво произносить согласные. С виду она казалась легкомысленной, но на самом деле была тверда как скала. Камю она боготворила и расточала ему хвалы от чистого сердца. Она помнила и цитировала наизусть “Калигулу” и “Недоразумение”.

– Да ну ладно, Жанина, полно... – останавливал ее польщенный автор.

Камю хотел, чтобы те, кого он любит, любили в ответ не только его самого, но и то, что он пишет. Он был раним и не уверен в себе, ему нужна была поддержка.

Долгое время Мишель Галлимар был любимцем Гастона, который прочил его себе на смену. Белокожий, рыжеволосый, с чуть раскосыми глазами, исполненный природного изящества, подчеркнуто вежливый с окружающими, но легковозбудимый, Мишель превыше всего в мире ценил дружбу, что порой переходило разумные границы. Впрочем, Камю на это не жаловался. Мишель любил роскошь, размах, по субботам давал ужины в ресторане “Реле Сен-Жермен”. Он был ревнив и требователен, как больной, нуждающийся в постоянной заботе. Все его близкие должны были непременно находиться рядом, в особенности жена. Он не жалел денег на дорогие автомобили, яхты и морские путешествия. В Париже он чувствовал себя как рыба в воде, хотя не был типичным представителем парижского издательского мира. Он позволял Альберу подшучивать над собой. Сам Камю оставался вне критики. Он был совершенно уверен: никогда Мишель, Жанина и Робер его не предадут. Они знали про него все и почти все ему прощали. С ними Камю охотно валял дурака. Однажды вечером все вдруг заскучили. “Так, – сказал со смехом Альбер, – в таком случае быстро раздеваемся!” <...>

Когда Камю предоставлен себе, он очень неустойчив: то любит, то вдруг начинает ненавидеть переходы метро, сигареты натошак, пустую квартиру, кипы писем, телефонные звонки, обеды “У Липпа”, работу у Галлимара... “Недавно виделся с одним чудачком, который предлагает золотые горы за право экранизации “Чумы”, – записывает Камю. – Но мне совсем неохота зарабатывать деньги, потому что достанутся они либо моему издателю, либо моему фининспектору... Я здесь вновь привык довольствоваться малым, что больше мне свойственно, и вновь обрел внутреннее равновесие. В конце концов, мне было очень хорошо в Лейзене (с Галлимарами), но подлинный рай – это тот, который ты уже потерял”.

Вскоре Камю уехал с франсиной в Алжир. Там снова повидался с матерью; обычно это бывало три-четыре раза в год. Мишелю и Жанине, которые по-прежнему оставались в Лейзене, он написал: “Дорогие Кавальера и Рустикана... В самолете мне сделалось дурно из-за моей клаустрофобии. Но ничего, приземлился свежий как огурчик”. Путешествие с франсиной оказалось для Камю на редкость приятным. Он будто снова вернулся в свой потерянный рай, населенный теньями прошлого. “Мы опять живем жизнью, которую так любим, и это наполняет нас счастьем”. Альбер с франсиной купаются на пустынных пляжах между Алжиром и Ораном. “Пока мы жарились на солнышке, у меня свистнули мой ярко-синий костюм, а франсина отдала на откуп врагу свою африканскую сумку из ящерицы, мексиканский браслет, американский плащ и юбку из виши. Пошли в участок, но не потому, что питали какие-то иллюзии, а потому что остались без документов. В участке на нас поглядели с недоверием и едва не упекли за решетку...” <...>

Франсина оставила близнецов в Оране. “Наш побочный продукт”, – шутил Камю. В философии брака, которую он мог бы написать, глава, посвященная жене, должна

была бы называться “Помеха”, а детям – “Помешки”. В квартире на улице Сетье семье Камю тесно. Франсина попыталась полностью освободить себе несколько недель, чтобы наладить семейную жизнь и подыскать квартиру побольше. “В результате, чтобы окончательно устроить будущую жизнь, она поставила под угрозу наше теперешнее временное существование, – жалуется Камю Мишелю. – Я имею в виду питание и прочее. У нас постоянно что-нибудь кончается: масло, сахар, мыло и разные другие продукты первой необходимости; на моем белье нет элементарнейших пуговиц; квартира (тоже временная) ежедневно становится объектом слепого уборочного рвения нашей юной бретонки – считает необходимым смешивать мои бессмертные творения с твоими второсортными писульками, которые “НРФ” подсовывает мне для прочтения за смехотворную плату”. И как бы со вздохом Камю заключает: “Не буду далее распространяться на эту тему, но должен сказать, что теряю надежду дожидаться от великодушной, что ни говори, Франсины чего-нибудь, кроме прожектов”.

18 июня 1948 года на бульваре Сен-Жермен Камю столкнулся с Казарес (они расстались, когда у Франсины родились близнецы). Мария успела стать известной актрисой, играла в театре, снималась в кино.

– Ты куда? – спросил Камю.

– В театр. А ты?

– А я к Жиду. . .

После разрыва они виделись редко и случайно. У Марии бывали увлечения. В последнее время она считалась подругой актера Жана Серве. Эта новая встреча перевернула все. Ради Камю Мария оставляет Серве. Альбер, правда, не собирается бросать Франсину: а как же дети?

Мария Казарес олицетворяла для Альбера его любовь к Испании. Так часто бывает: женщина сливается для нас с близким и знакомым городом или с далекой страной, о которой мы мечтаем. Мария заполнила всю жизнь Камю. Он стал ей писать, иногда по два раза на дню. Он всерьез утверждал, что, если она умрет, он перестанет смеяться. Он ревновал ее к работе. “Играя, ты должна думать обо мне”, – требовал он. Он не терпел рядом с ней никаких других мужчин. Когда она уезжала, он каждый день ждал писем, нервничал, утверждал, что сходит с ума. Мария пыталась его успокоить, уговаривала беречь себя, лечиться от туберкулеза. Она была жизнелюбива, радовалась любви и жалела только об одном: что они не могут вместе куда-нибудь уехать. “Наслаждайся тем, что с тобой дети”, – увещевала она Альбера. О Франсине Камю отзывался с симпатией и уважением, был искренне к ней привязан. И при этом страстно любил Марию. Франсина отлично знала о двойной жизни своего мужа, великодушно и мужественно с этим мирилась – или делала вид, что мирится. В канун нового, 1949 года Альбер написал Марии: “Счастливого Нового года, любовь моя, хочу, чтобы мы были вместе и я не умер вдали от тебя”. Друзьям своим Камю постоянно намекает, что не создан для семейной жизни, но это так же, как в любви: любить больно, но он любит. Больно писать. Но он все равно пишет.

Сестры Фор вскоре узнали о возобновлении отношений между Камю и Казарес и пытались скрыть новость от своей матери: та отказывалась принимать парижские нравы. Кристиана утешала младшую сестру:

– Не так уж это страшно, его отношения с Казарес. Ты же понимаешь, что Альбер не может одновременно бороться с палочками Коха и со своими страстями. Ты слишком многого от него хочешь.

Другая сестра, Сюзи, вообще не понимала, как муж и жена могут обманывать друг друга. Франсина только стискивала зубы. Она даже помыслить не могла об измене со своей стороны. Она была привязана к Альберу, но и он, должно быть, дорожил ею, ведь, при том что у него были связи на стороне, о разводе он даже не заикался. Иногда он приходил домой в три часа ночи. Что ж, у журналистов свободный и непредсказуемый график работы. Да, большую часть дня он проводит вне дома – все равно он думает о ней постоянно. Она присутствует даже в его снах. Ему приснилось, что она его спасает. Камю записал: “Его ведут на гильотину вместе с женщиной по имени Вера. Их догоняет Франсина, протягивает револьвер. Он говорит ей: “Я знал, что ты в нужный момент окажешься рядом и придешь мне на помощь”.

Франсина совсем не похожа ни на Казарес, ни на Бовуар, которая разработала целую теорию увлечений и страстей, обуревавших Сартра, и принимала их подчас с подозрительной готовностью. Франсина переживает глубоко и сильно, но терпит и молчит. Положение ее мучительно, а нервы сильно расшатаны. Наследственность тоже не из лучших: бабка по материнской линии страдала неврастением. Но в клане Форов не выносят трагедий, мелодрам и душераздирающих сцен. В этом они совсем не похожи на южан. Франсина не может, подобно Саре Эттли, забавляться тем, что ее обманывают. Она не так проста, как думают некоторые друзья Камю, которые, желая его оправдать, представляют ее как послушную условностям буржуазную дамочку, не дающую своему исключительно одаренному супругу дышать свободно. Франсина лишь кажется обыкновенной, на самом деле сложностей в ней хватает. Как-то она призналась Альберу: “Я очень запутанная. Я могу осознать, что люблю, только когда страдаю. Пока я не страдаю, я себя не понимаю”.

Рихард Вагнер называл Козиму Единственной. Камю называл Единственной Казарес. Теперь они неразлучны. Их связь известна всем, хотя Альбер и пытается щадить самолюбие Франсины. В дневниках он вспоминает начало своих отношений с Марией: “В 1944-м мы пережили упоительные часы. Но часто, даже после наших встреч, счастье было для нас обоих отравлено гордостью. В горделивой любви есть свое величие – но она лишена всепобеждающей надежности, которую заключает в себе любовь дающая”.

Друзья Камю единодушно решили: Мария Казарес – именно та женщина, которая нужна Альберу. С ней ему хорошо и спокойно, теперь он много смеялся.

– Отчего ты смеешься? – спрашивала Мария.

– От удовольствия.

“Он заменил моего отца, заставил принять себя”, – записала Казарес. Она действительно принимала Камю таким, каким он был: постоянным в своем непостоянстве. Он часто повторял фразу: “Я тебя обманывал, но ни разу не предал”. Но право на свободу Камю признавал только за собой. Если при нем вспоминали какое-нибудь увлечение Казарес, пусть даже мимолетную интрижку, Камю мрачнел. Заговаривали о Жераре Филипе, который играл с Марией в “Крещении” Анри Пишета, – Камю свирепел. Со своей стороны, Мария не приняла Франсину в качестве жены-сестры, да еще беременной. Когда же Франсина родила близнецов и стала женой-матерью, Мария смирилась. “Я ни у кого ничего не отнимала, – скажет она позже. – В этих делах можно взять только то, что никому не принадлежит, или то, от чего отказались”.

Мария и сама была донжуаном в юбке. Она прекрасно знала о любовных похождениях Камю. “Когда утихла страсть и осталась только любовь, мне не приходило в голову опасаться привязанности Альбера к кому-нибудь другому”, – пишет она. В Камю она видела типичного французского “мачо”. Она добавляет: “Со своей стороны, он тоже никогда не старался пресечь мои отношения с другими”. Им не нужно было измышлять, подобно Сартру и Бовуар, теорию Необходимости и Случайностей, они просто жили, и в их жизни всепоглощающая любовь не исключала определенной свободы.

Неистовая, неукротимая, неподражаемая, звезда и дива во всех своих проявлениях, Казарес меньше, чем Камю (в “Мифе о Сизифе”), размышляла о сути любви. Если ее возлюбленный переживал мимолетный роман, Мария оставалась невозмутимой: “Мы были настолько уверены друг в друге, что ничто не могло заронить в душу сомнение. Мы верили, что предназначены друг для друга судьбой, поэтому все для нас было возможно. Но прежде чем мы до этого дошли, мы пережили опасный и бурный период испытаний, нам пришлось победить в себе банальные представления о мире и соблазн взаимного закабаления. В общем, все, во что рядится тщеславие. Труднее всего было преодолеть гордость, которая переполняла нас обоих, требуя недостижимого”. <... >

Казарес-актриса и Камю-драматург идеально подходили друг для друга. У Сартра тоже были любимые актрисы, но не такие яркие. Когда он переставал давать им роли, они сходили со сцены и исчезали из его жизни. Казарес ни на кого не похожа: невероятный голос, бешеная артикуляция; она была актрисой и до встречи с Камю. Он не сотворил ее – они творят вместе. Так театр вновь вошел в жизнь Камю. Он снова начал писать пьесы, чего не делал уже много лет (в двух играла Мария). И без конца правил “Калигулу”. <... >

“Праведников” поставил Эттли, двоюродный брат Казарес, а она сыграла Дору Дулебову, главную женскую роль. Пьеса, действие которой происходит в России в предреволюционную эпоху, пришлась публике по вкусу... За основу сюжета взяты реальные события 1905 года. Главный герой – эсер Каляев, остальные персонажи вымышлены. Фабула пьесы состоит в следующем: молодая женщина по имени Дора готовит бомбу; ее возлюбленный должен бросить эту бомбу под колеса экипажа, в котором поедет великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы; увидев в экипаже великую княгиню с детьми, террорист не решается на убийство; Каляева арестовывают. В тюрьме революционера навещает великая княгиня, она призывает его раскаяться и обратиться к Богу. Дора и Каляев чисты душой и любовь ставят превыше революционных идей, но они помнят, что в мире свирепствует чума, и не смеют безоглядно отдаться чувству. Этим двум героям противопоставлен Степан, которого сыграл один из любимейших актеров Камю – Мишель Буке. Подобно советским коммунистам, Степан считает, что цель оправдывает средства. В этом персонаже соединены черты поборника справедливости и убийцы. Он говорит: “В тот день, когда мы забудем о детях, мы станем властителями мира и революция победит”. К Доре и Каляеву Камю относится с восхищением, но и их противников тоже наделяет большой силой. <...>

Многочисленные знакомые, поверхностно знавшие Камю, считали его человеком организованным, самоуверенным, порой даже высокомерным, умело плетущим любовные интриги. Сам Камю ощущал себя иначе: “Собственно говоря, я никогда толком не мог в себе разобраться. Но всегда инстинктивно следовал за невидимой счастливой звездой... Во мне царит какая-то путаница, устрашающий хаос. Сочинять для меня – крестная мука, потому что тут нужен порядок, а во мне порядку все сопротивляется. С другой стороны, без порядка я рассыплюсь на части”. Так или иначе, он возвращается к неразрешимой проблеме: “Люди упорно путают, с одной стороны, брак и любовь, с другой – и счастье и любовь. Но между ними нет ничего общего. А так как отсутствие любви встречается чаще, чем любовь, то и получается, что браки лишь изредка оказываются счастливыми”. Камю не презирал тех женщин, с которыми спал, но случалось, после мимолетной интрижки с красоткой, жаждущей продолжения романа, он заявлял: “Я дал ей понять, что со мной этот номер не пройдет”. <...>

В собственном доме Альберу было неуютно. Зато в обществе своей Единственной, ее старой служанки и собаки он чувствовал себя как дома. Впрочем, и Франсина была ему нужна – в непритязательной роли домохозяйки и матери семейства. Марии досталась роль более яркая и заманчивая – официально признанной любовницы. Свои отношения с обеими женщинами Камю охотно обсуждал с Жаниной и Мишелем. Галлимары принимали Альбера в любом случае: с Франсиной ли он был или с Марией. Мишель был другом, братом, товарищем, он не осудил бы, не перешел дорогу. Ему Альбер без смущения мог пожаловаться на бытовые неурядицы. После недолгой поездки в провинцию Камю пишет друзьям:

Вернулся домой и вновь окунулся в привычные семейные передраги: квартира тесна, некуда деть ребят, некуда уложить тещу, некуда складывать уголь. Впрочем, самого угля тоже нет, а есть дрова, которые занимают чертовски много места. И прислуги тоже нет. Короче, можно сойти с ума. Мне все настолько осточертело, что я готов сотворить что-нибудь непоправимое... Становлюсь пессимистом. У меня больше нет ощущения, что доверять можно всем на свете. Мало кого мне хочется назвать другом, а люди в целом видятся трусливыми и жестокими... Я становлюсь старым грибом... наверное, мне лучше спрятаться от всех и бросить писать.

Всякий раз при обострении туберкулеза, которое он называл гриппом, Камю впадал в депрессию, искал утешения в работе и готовился к новым поездкам. “Поставил перед собой цель: всучить моему издателю-кровопийце пять томов, перед тем как отправиться в Южную Америку. Я имею в виду “Веревку” – пьесу в пяти актах, “Человека бунтующего” – эссе в 250 страниц, том критических очерков, том политических статей и том литературных эссе о Средиземноморье. Хочется скинуть все, что висит надо мной уже много лет, ничего больше не писать в течение нескольких месяцев, а затем начать второй цикл, который обеспечит мне мировую славу. Тем временем эти пять томов должны принести достаточно – если только львиная доля, принадлежащая Галлимару, не слишком велика – и гарантировать мне скромное существование. Но чтобы сделать все, что я наметил, до июня месяца, мне надо работать не покладая рук, и чтобы никто ко мне не приставал, и всерьез надавить на мою природную беспечность. Правда, кое-кто меня поддерживает, и в принципе этого достаточно, если хоть чуточку повезет”.

Камю работал в издательстве у Галлимара на улице Себастьян-Боттен.

Внутренняя лестница соединяла редакцию с квартирой “Джэми” (Мишеля), которая выходила на Университетскую улицу. В обеденное время Мишель обычно собирал у себя друзей. Отпуск они тоже нередко проводили вместе. В 1951-м Мишель и Жанина купили старую деревенскую харчевню “Кло де Сорель”. Находилась она в департаменте Эр, в деревеньке Сорель-Муссель, на границе Иль-де-Франс и Нормандии. До Парижа – 80 километров или два часа на машине. Вскоре старая харчевня превратилась в загородный дом. На верхней лестничной площадке выстроились вдоль стен все книги галлимаровской “черной серии” в черно-желто-белых переплетах – прямо-таки энциклопедия полицейского романа. В этом доме семейства Камю и Галлимаров любили устраивать пантомимы, партии в пинг-понг или играть в другие спортивные, но спокойные игры. Жили они неспешной, размеренной жизнью, снимали 16-миллиметровые фильмы, сочиняли сценарии. Мишель и Альбер, оба большие туберкулезом, будто знали, что времени им отмерено немного. Они делали фотографии. На многих снимках они запечатлены с книгой в руке. Раймон Галлимар тоже обзавелся виллой на берегу Эра, называлась она “Ла Патош” (“Лапа”). Здесь Камю гостил с близнецами. Старшие дети купались в реке, в дальнем конце окружавшего дом парка, а Камю устраивался с удочкой под липой и ловил рыбу. Иногда ему везло и он вытягивал щуку. Местечко было сонное, магазинов в деревне не было, и Альбер с Мишелем наслаждались тишиной и покоем.

Случалось, что вся компания ужинала в окрестностях Парижа, в Карьер-сюр-Сен. Маленькую Анну, дочь Жанины, брали с собой. Камю был очень привязан к этому ребенку. Он дарил ей книги из серии “Плеяды” и подписывал: “Твой старый дядька”. А еще давал те же советы, что и собственным детям: “Когда идешь по улице, улыбайся людям. Если кто с тобой поздоровается, ответь. Всегда что-нибудь хорошее из этого да получится”.

Камю считался своим среди литераторов, театралов и журналистов. Интеллектуальный и артистический мир Парижа был гораздо сплоченней, чем в Германии, Италии, Великобритании или Соединенных Штатах. Но и тут изъявления дружбы нередко заканчивались яростными перебранками, так что Камю предпочитал жизнь замкнутую, какую вел когда-то в Алжире, и занимал по отношению к этому миру скорее оборонительную позицию... В глазах ближайшего окружения он сочетал ореол Сартра и обаяние Жерара Филипа. <...>

ЦЕНА ПОБЕДЫ

16 октября 1957 года Камю обедал с Патрисией Блейк “У Мариуса”. Уже второй день Париж полнился слухами, долетавшими из Стокгольма. Галлимар отправил к Камю курьера. Тот приблизился к столику, отослал гарсона и объявил: Камю получил Нобелевскую премию по литературе. С трудом переводя дух, Альбер выговорил, обращаясь к Патрисии:

– Ее должен был получить Мальро. Мальро, ты знаешь...

Жан Ко, секретарь Сартра, поставил в известность своего патрона.

– Что нового? – спросил Сартр.

– Камю дали Нобеля.

– Ну что ж, он заслужил.

Некоторое время спустя Камю отправил матери в Алжир телеграмму, она показала ее Понсе: “Мама, теперь ты мне нужна больше чем когда-либо”.

О том, что Камю реально может получить Нобелевскую премию, говорили много, и Альбер это знал. (Его имя значилось в списках комитета.) У претендентов – свои осведомители. Хольгер Алениус, французский консультант шведского издателя Бонньерса, предупредил Камю: “Шведская академия заказала мне обзор вашего творчества”.

Франсине сообщили новость по телефону. Вместе с двенадцатилетней дочерью и подругой Одиль де Ланен, которая одно время была секретаршей Камю, они купили шампанского. Домой зашел Альбер.

– Жизнь похожа на роман, – сказал он.

– А акробатам Нобелевскую премию дают? – спросила дочка.

– Бедный Альбер, – вздохнула Одиль. – Из тебя мог получиться такой славный бунтарь!

Но Камю было не до шуток. Он подумывал отказаться от премии. Потом решил все же принять, но на церемонию не ездить, а речь отправить с кем-нибудь. Гастон Галлимар сказал, что об этом не может быть и речи: ехать надо.

В издательстве, пробегая мимо телевизора, Камю увидел на экране свою мать. Говорят, он побоялся остановиться, чтобы не заплакать. В эти дни он был в постоянном напряжении, с трудом преодолевал усталость. Доктор Вольфромм прописал ему микроэлементы: железо, медь и марганец. Но уроки йоги пришлось бросить, уже не хватало времени дышать одной ноздрей. Журналисты и фоторепортеры ходили за Альбером по пятам. Он был с ними любезен – это отмечали все друзья, собравшиеся на коктейле у Галлимара. Франсина с близнецами тоже пришли на празднование.

– Я ужасно хочу поехать в Стокгольм, – заявила маленькая Катрин. – Шведские коньки, это здорово!

А Жан, который не так давно, разобидевшись, назвал отца никчемным писателем, теперь спросил:

– Значит, папа теперь точно останется в литературе?

В зале толпился народ, мелькали вспышки фотоаппаратов, все обнимались и поздравляли виновника торжества. Там были многие друзья Камю: Жюль Руа, Блок-Мишель, Лемаршан... Над толпой мелькала голова огромного Филиппа Эриа. Пришли и театральные друзья во главе с Мадлен Рено. Но кое-кого все же не было: не было Казарес, актрисы Катрин Солерс и еще одной молодой женщины, недавно занявшей в жизни Камю важное место, – ее звали Ми. Приходилось соблюдать приличия и щадить самолюбие Франсины. <...>

Годом раньше Нобелевскую премию получил испанец Хуан Рамон Хименес. Но французы не сдавались: 1937 год – Роже Мартен дю Гар, 1947-й – Андре Жид, 1952-й – Франсуа Мориак. Камю через месяц должен был отпраздновать свое 44-летие. Из всех литературных лауреатов только Киплинг был моложе его – 42 года. Информационные агентства Франции, столичная и провинциальная пресса, радио – все неустанно напоминали, что Франция дала миру больше всего лауреатов в области литературы. Имя Камю следовало после Сюлли Прудона, Фредерика Мистрала, Романа Роллана, Анатоля Франса, Анри Бергсона... Приличная охапка лавров для такой небольшой страны, как Франция. В области науки французы не столь удачливы. Зато писатели имеют здесь социальный и политический статус, которого нет у их коллег ни за океаном, ни по ту сторону Ла-Манша. Президент республики, например, должен обязательно прислать лауреату поздравительную телеграмму. “Вам вручена высочайшая международная награда, делающая честь как писателю, так и его отечеству...” – так начиналось поздравление президента Рене Коти.

Последовала череда официальных ужинов и обедов... Камю не уставал повторять, что Мальро больше, чем он, заслуживал Нобеля. Незадолго до описываемых событий поэт Жан Грожан обедал с Мальро в Датском доме. Он рассказывал потом: Мальро то был совершенно уверен, что премию дадут ему, а то вдруг заявлял, что не дадут, потому что он сторонник де Голля. Мальро полагал, что французское правительство обратилось к шведскому, а оно в свою очередь оказало давление на Академию. Только это маловероятно. Камю же всюду твердил одно: “Я бы предпочел, чтобы награду присудили Мальро”, “Премии должен был бы получить он”. Сам Мальро сделал красивый жест и отправил Камю письмо: “Дорогой Камю, только что прочел Ваше заявление. Оно делает честь нам обоим, благодарю Вас. С дружескими чувствами...” Ни больше ни меньше.

Жану Гренье Мальро написал: “Камю выбрал достойную позицию”. Дочь Мальро отмечала, что с отцом лучше было не говорить о Нобелевской премии. К тому же довольно двусмысленно звучали слова Камю “должен был бы получить...”. Значило ли это, что Мальро больше заслуживал Нобеля, чем Камю? Или что он получил бы его, если бы не был голлистом? Оба писателя относились друг к другу дружелюбно, но не равнозначно. Камю о Мальро отзывался с восторгом: “Для меня было большим счастьем прочесть Мальро, когда я только начинал писать, и принять его как учителя, а позже найти в нем друга...” Мальро ценил Камю, но относился к нему скорее покровительственно. Впрочем, неизвестно, относился ли он вообще к кому-нибудь не свысока.

К церемонии вручения награды приходилось всерьез готовиться. Франсина, встретив у парикмахера Рене Галлимар, поделилась с ней сомнениями:

– Альбер хочет, чтобы я ехала с ним... Чтобы сделать мне приятное, это понятно. Не знаю, ехать или нет. Я боюсь, что буду ему мешать.

– Да ну что ты! – ответила Рене.

Своей новой возлюбленной Ми, которая была на двадцать два года его моложе, Камю сказал:

– Франсина была со мной в беде, пусть же будет и в радости.

Его чувства к жене по-прежнему противоречивы. Отвечая на поздравительное письмо своей кузины Николь Шаперон, Камю признался, что Нобелевская премия принесла ему “больше сомнений, чем уверенности. Успех – мимолетный бальзам, тревога же художника неизлечима: он умирает, ничего не зная наверняка”. Далее он пишет, что растроган великодушием Франсины, которую “всегда любил на свой неуклюжий лад”. По его словам, она все ему “простила”.

Фрак Камю взял напрокат на улице де Бюси. Мадо Бенишу одолжила Франсине свою единственную драгоценность – старинное ожерелье с кабшоном. Еще кто-то пожертвовал норковую пелерину. В день отъезда Камю обедал с Берлем. Первая его фраза при встрече была:

– Только бы все это не задело Мальро.

Лететь на самолете Камю запретили врачи, поэтому вся “команда”: Мишель и Жанина Галлимары, Клод и Симона Галлимары, американская издательница Камю Бланш Кнопф, шведский переводчик Карл-Густав Бьюрстрём, франкофил и франкофон, пишущий о Камю книгу, и Альбер с Франсиной – погрузилась в “Северный экспресс”.

“Коррида” началась в понедельник, 9 декабря, когда поезд прибыл в Стокгольм. Сотрудники французского посольства взяли Камю под свою опеку. Со шведской стороны к нему приставили дипломата Ханса Коллиандера. Он проводил делегацию в “Гранд-отель”, который находился напротив королевского дворца. Потом начались пресс-конференции и приемы с участием поэтов, писателей, критиков и актеров, среди которых многие совсем не говорили по-французски. Камю был достаточно хорошо воспитан и потому ни разу не напился, как тремя годами раньше Хемингуэй (тогда даже шведы изумились). Некоторые журналисты ожидали найти в Камю скорее политического лидера, нежели писателя. Крупнейшая либеральная стокгольмская газета “Дагенс нюхетер” с первых же дней скептически отнеслась к выбору Академии. Какие идеи выдвинул Камю? Не так уж этих идей много и не такие уж они интересные. Камю не хватает глубины и фантазии: кроме разве что “Постороннего”, все остальные его книги – второразрядная литература. Консервативная газета “Свенска дагбладет” тем не менее подчеркивала, что Франция сохраняет за собой место мирового лидера в области литературы. Она соотносила победу Камю с его нелегкой жизнью, а французские литературные достижения – с трагической судьбой Франции после 1940 года.

Апофеоз “корриды” – вручение премий – состоялся во вторник, 10 декабря. Перед этим приключился один курьез: Камю потерял свою речь, которую никому не показывал. Текст, правда, вскоре нашелся: его забрал Бьюрстрём, чтобы перевести.

С начала нашего века Стокгольм, очаровательный провинциальный городок, раз в год превращается в центр мировой культуры. К трем часам дня в деловой части города перед концертным залом, где обычно происходит церемония вручения, несмотря на холод, собралась толпа. Снаружи голубое здание выглядело несколько линялым, зато внутри поражало изяществом колонн, розовым бархатом ковров и пышностью желтых георгинов, обрамлявших эстраду. Можно, правда, взглянуть на церемонию строгим взглядом французского посла Габриеля Бонно, который в своей телеграмме отметил:

Нет ничего более банального, холодного и менее естественного, чем ритуал вручения Нобелевских премий, которому теперь более пятидесяти лет. Сохранив верность стилю начала века, чопорная и педантичная Швеция пользуется случаем продемонстрировать свою любовь к точности и порядку. Концертный зал, где из рук короля лауреаты получают высочайшие награды, представляет собой унылый гранитный

куб, который не может оживить даже скульптурная группа “Орфей”, помещенная при входе в качестве заблаговременного извинения. Интерьер по своей безликости под стать всему зданию. Сцена превращена в эстраду, непременно увитую зелеными растениями. Бюст Альфреда Нобеля увенчан лаврами, наподобие аллегорической фигуры Бессмертия – “в лаврах тощее лицо”. Все это вместе с парадными фраками составляет трафарет церемонии. Хвалебные речи в адрес лауреатов довершают общую картину. Следуя традиции, начатой Фонтенелем, видные члены Шведской академии делают попытки приобщить достопочтенную публику к последним научным открытиям, таким, например, как асимметрия атома, структура коэнзимов, фармакологическая блокировка гистаминов, а кроме того, потаенные механизмы рождения литературных шедевров – что уж совершенно немислимо!

Лауреатами Нобелевской премии по физике были объявлены два китайца, Чен Ниньянг и Тсунг Данли, эмигрировавшие в Соединенные Штаты. По химии – сэр Александер Тодд. По медицине – профессор Бове, родившийся в Швейцарии, учившийся во Франции и живший в Италии. Что же касается литературы, которой уделяют особое внимание, премия, согласно воле Альфреда Нобеля, присуждается “произведению, замечательному в плане идей”. Это – Камю.

Поднимаясь на эстраду, Альбер напоминал того прежнего стройного юношу, который отплясывал когда-то на курорте Падовани в Алжире, а затем в парижских кафе и ресторанах. Симона Галлимар отмечает, что в глазах его мелькал детский страх: он не вполне уверен, что заслужил эту честь, но пышность церемонии ему по вкусу. В Париже Симона знала Камю мало и только теперь поняла, в чем состоит его знаменитый шарм.

Произносятся торжественные речи в адрес Альфреда Нобеля, который начал с изготовления взрывчатки, а затем учредил Нобелевскую премию мира, вручаемую в Норвегии. Доходит очередь до лауреатов. Секретарь Шведской академии Андерс Остерлинг совершает тот же промах, что и Эмиль Анрио: он называет Камю экзистенциалистом. Наконец в Золотом зале начинается вручение дипломов, медалей и банковских чеков. За ним следует бал: длинные платья, строгие фраки, студенческий хор.

Следуя традиции, Камю произносит свою речь в стокгольмской ратуше в конце банкета, завершающего церемониальный день. Начало его речи торжественно: “Сир, Мадам, Ваши Королевские Высочества, дамы и господа...” Он углубляется в подробности своей биографии, тринадцать раз употребляет слова “искусство” и “художник”, цитирует самого себя и колеблется между общепринятыми нейтральными формулами и содержательностью. Эта награда, говорит он, венчает не только его собственные заслуги. Отчасти искренне, не без примеси кокетства, он говорит, что все его достояние – это вечные сомнения и та книга, над которой он в данный момент работает. Он называет себя писателем, который “не может подчинить свое творчество тем, кто делает историю”. В своем выступлении – оно мало чем отличалось от опубликованного и посвященного Луи Жермену текста – Камю говорит о художественных образах, которые должны “прийти на смену” молчанию узника. Никому не подчиняясь и не служа, писатель обязан критиковать сильных мира сего. Он делает свой выбор, отказываясь лгать о том, что знает, и сопротивляясь принуждению. Затем Камю рассказывает о своей жизни, похожей на жизнь многих других людей, “которым исполнилось двадцать в тот момент, когда креп гитлеровский режим и кипели первые революционные процессы; которые возмужали, пройдя через войну в Испании и вторую мировую, через страшную реальность концлагерей, тюрем и пыток”. На Стокгольм повеяло ужасами Будапешта, советских лагерей, Алжира. При упоминании об алжирских французах голос Камю, низкий и звучный, задрожал от еле сдерживаемого волнения.

Речь очень понравилась королю Густаву V I. Он был археологом по образованию, хорошо понимал французский и выказывал особый интерес к лауреату по литературе. Король и члены королевской семьи занимали первый ряд голубых кресел. Рядом с ними сидели родственники награждаемых. Франсина была прелестна и сияла улыбками. Участвуя в светских раутах, встречах, протокольных приемах, они с Альбером успешно разыгрывали роль дружных супругов. Газеты окрестили мадам Камю “нобелевской звездой первой величины”. За железным и бамбуковым занавесами Альбера Камю причислили к лагерю “зачинщиков холодной войны”; шведские академики-де подчеркнули “политический характер” своего выбора, обделив Нобелевской премией Арагона и Элюара. Официальный язык коммунистической прессы стал еще жестче.

12 декабря, в четверг, в 17.30, Камю встретился в Доме студента с учащимися

Стокгольмского университета. После приветствия, исполненного студенческим хором, началась дискуссия. Камю вообще предпочитал дискуссии лекциям. Он чувствовал себя уже достаточно пожилым, но совсем еще не старым и любил побеседовать с молодежью. . . Камю бросил вызов:

– Я не успел пока сказать, что я думаю об Алжире, но если вы меня спросите – скажу.

Атмосфера в зале резко изменилась. Поднялся алжирец лет тридцати, сидевший в окружении друзей, вышел на сцену.

– Вы подписали массу петиций в пользу восточных стран, – начал он. – Но за три года ни разу ничего не сделали для Алжира!

Говорил он долго и не всегда понятно. Закончил выкриком:

– Алжир будет свободен! < . . . >

Тогда Камю сказал то, что собирался.

– Я действительно молчал год и восемь месяцев, но это не значит, что я ничего не делал. Я стоял и стою за справедливый Алжир, где французы и алжирцы должны жить в мире и иметь равные права. Я много раз говорил, что необходимо признать права алжирского народа, дать ему возможность жить в условиях подлинной демократии. Если этого не сделать, то ненависть между алжирским и французским народами разрастется до такой степени, что уже ни один представитель интеллигенции не сможет вмешаться без того, чтобы не разжечь еще большую вражду. Мне казалось, что лучше дождаться подходящего момента для объединения, чем разъединять. Тем не менее могу вас заверить, что благодаря акциям, о которых вы ничего не знаете, ваши товарищи еще живы. Мне крайне неприятно говорить об этом публично. Я всегда был противником террора. Я также против террористических актов, осуществляемых вслепую, например, на улицах Алжира. Жертвой его однажды может стать моя мать. Или мои близкие. Я верю в справедливость, но в первую очередь буду защищать не справедливость, а собственную мать.

Корреспондент “Монд”, единственный представитель французской прессы в Доме студента, процитировал потом Камю, отметив: “Это заявление было встречено аплодисментами”. Высказывание Камю о матери и справедливости долго комментировалось в Париже и, благодаря “Монд”, во всем мире. Оно до сих пор актуально. Бьюрстрём, который присутствовал в зале, чувствовал себя весьма неуютно. Смысл этой фразы он понял так: если вы видите справедливость в террористических актах, в подкладывании бомб, то я делаю выбор в пользу моей матери – ведь она может оказаться в алжирском трамвае, который вы собираетесь взорвать. фраза Камю, возможно, слишком театральна, но ее нельзя рассматривать вне контекста. Еще не зная, к чему это приведет, все в том же Доме студента Камю сказал: “Нередко окончательный смысл фразы становится ясен, когда она уже произнесена”.

Юбер Бёв-Мери, директор “Монд”, потребовал подтверждения этого заявления слово в слово. Так как выступление было записано, фразу подтвердили.

– Я несколько не сомневался, что Камю что-нибудь ляпнет, – сказал Бёв-Мери. < . . . >

У таких людей, как Камю – южан, уроженцев Алжира, – привязанность к матери сохраняется на всю жизнь. Справедливость же – понятие переменчивое, зависящее от времени, политического строя, партийного мировоззрения, действующего права. Камю прежде всего хотел противопоставить сыновью любовь – безумству. Но многие алжирцы и “прогрессивные” люди поняли эту фразу иначе: благополучие женщины, меня родившей, для меня важнее, чем судьба коренного населения Алжира. Кое-кто даже усмотрел в этом высокомерие: собственная мать ставится на одну чашу весов с миллионами страдающих алжирцев. < . . . >

Из Стокгольма чета Камю вернулась с подарками. Детям достались долгожданные коньки. Кивнув на свою жену, Альбер заявил Кристиане:

– Ты мне не говорила, что твоя сестра создана быть женой дипломата.

– А ты разве сам не замечал? – удивилась та.

И все же Нобелевская премия оказалась тяжким бременем. Роберу Малле Камю признался: “Нобель меня состарил”. Он чувствовал, что превращается в памятник, почти в оттиск на медали. И в самом деле, главный хранитель кабинета медалей в Национальной библиотеке попросил его “попозировать немного”. Камю в замешательстве ответил: “Я уже не молод, но еще не так стар и сделал крайне мало... Может, лучше повременить?” Ассоциация алжирцев, проживающих в Швеции, написала Камю: человек, выступивший в Стокгольме, говорил от своего собственного лица и не принадлежал ни к какой группировке, ни к какой националистической организации. 17 декабря Камю отправил директору “Монд” письмо: “Приписываемые мне высказывания все абсолютно верны, за исключением одного, которое, если можно, я хотел бы уточнить. Я не говорил, что в решении алжирской проблемы правительство совершало лишь незначительные ошибки. В действительности я думаю иначе. Что же касается свободы выражения французских писателей, то я сказал, что она полная. Когда я говорил о свободе нашей прессы, я сказал, что ограничения, которые могли быть навязаны этой свободе правительствами, запутавшимися в алжирской трагедии, были до сего дня относительно небольшими, но это вовсе не означает, что я одобряю эти ограничения, пусть даже частичные. Я всегда сожалел, что не существует разряда журналистов, которые ставили бы себе целью защищать свою профессиональную свободу и те обязанности, которые неизменно включает в себя эта свобода”. К сказанному Камю добавляет характерный для него личный нюанс: “Я бы хотел также подчеркнуть, отвечая на вопрос того молодого алжирца, что чувствую себя гораздо ближе к нему, чем к многочисленным французам, которые рассуждают об Алжире, не зная. Он знал, что говорит, и лицо его выражало не ненависть, а отчаянье и страдание. Я разделяю с ним его страдание. У него лицо моей страны. Поэтому я и решился тогда публично – для этого человека, и только для него – объяснить те личные проблемы, о которых я молчал до тех пор. Но мои объяснения были чересчур буквально воспроизведены вашим корреспондентом”.

Из Стокгольма Камю уехал 15 декабря, и письмо это писал уже в Париже. Только здесь он понял, какой эффект произвела фраза о справедливости и любви к матери. “. . . чересчур буквально воспроизведены вашим корреспондентом. . .” Камю тщательно взвешивает каждое слово, но пишет без дальнего прицела. Через несколько дней от главного редактора “Монд” он получил профессионально-ловкое предложение: “Пресс-конференция, которую Вы дали в Стокгольме, по-прежнему вызывает споры. Несколько дней назад мы имели честь получить от Вас любезное уточнение к ней. Если Вы считаете возможным выразить Вашу настоящую позицию по алжирскому вопросу, мы будем счастливы опубликовать Вашу статью или интервью, которое, может быть, Вы согласитесь дать одному из наших сотрудников. Я думаю, мы предвосхитим таким образом желание многих наших читателей”. Камю поблагодарил и отказался. Свою точку зрения он собирался высказать в книге, которая должна была включать все его статьи об Алжире за двадцать лет, а также заключительное слово. Теперь Камю выглядел высокомерным, неприступным: “В нашем враждебном, злопыхательском обществе писателю, если он хочет быть правильно понятым по основным вопросам, остается только писать книгу. Это хоть частично оградит его мысль от искажений, неизбежных в пылу полемической кампании”.

Камю познал все неудобства, которые приносит известность. Если он шел в ресторан, его преследовали обожатели и коллекционеры автографов. Американское радио рифмовало его со славой: Кэмёс – famous. От Нобелевской премии не так-то легко отделаться. Даже если не замечать под статьей обязательной приписки к имени автора: Нобелевский лауреат. . .

Через некоторое время Альбер приехал в Алжир. Шофер такси, услышав знакомое имя, закивал:

– А, знаю, вы тот Камю, что из клуба РЮА!

А одной алжирской знакомой Камю рассказали такой эпизод. Альбер встретил на улице своего старинного приятеля, слесаря по профессии.

– Ну что, старик, что у тебя нового? – спросил тот. – Где ты теперь и чем занимаешься?

Перевод с французского МАРИИ АННИНСКОЙ